Б И Б Л И О Т Е К А



ISSN 0132-2095

№ 23 1987



Наталья ***ИЛЬИНА***

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

«БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 23

Наталья ИЛЬИНА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Наталья ИЛЬИНА

Наталья Иосифовна Ильина давно известна советскому читателю. Ее роман «Возвращение» (книги первая и вторая) вышел в издательстве «Советский писатель» в 1969 году, а в 1974-м то же издательство выпустило сборник Н. Ильиной «Светящиеся табло», куда вошли сатирические произведения, до тех пор публиковавшиеся в периодической печати. В конце шестидесятых годов писательница начала работать в жанре, близком к мемуарному: это очерки-портреты тех людей, с кем она была связана в личной и творческой жизни на протяжении многих лет. Собранные в книгу «Судьбы» (1980 г.), очерки имели и дальнейшее продолжение в следующей книге — «Дороги» (1983 г.).

Вертинский! Когда-то это имя гремело. Блистательный актер, музыкант, поэт — он был чрезвычайно популярен в предреволюционной России, его песнями буквально заслушивались, его концерты проходили триумфально, при полных аншлагах.

Судьба Вертинского — трудная, даже трагическая судьба многих из тех, кто после 1917 года покинул отечество, скитался на чужбине. О трудных годах эмиграции, о бездомье, о тоске, о сомнениях, наконец, о возвращении на Родину нашего талантливейшего артиста рассказывают эти мемуары.

Граммофонную пластинку с его голосом я услыхала впервые, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать. На одной стороне: «Ты успокой меня...», на другой — «Сероглазый король». Очень меня взволновал этот голос, больше говорящий, чем поющий, — и музыка, и слова. «Но ты ушла холодной и далекой, закутав сердце в шелк и шиншилла...» Это звучало красиво, звучало загадочно, я и не стремилась узнать значение таинственного слова «шиншилла»... Вскоре у меня появилось еще несколько пластинок Вертинского.

Я слушала их вечерами, когда родителей не было дома. Осень. Сумерки. Не зажигая огня, я залезаю с ногами в кресло и упиваюсь голосом Вертинского сквозь шипение старого патефона. Я сижу в столовой: в углу диван, рядом мамин секретер с застекленными фотографиями над ним, посредине обеденный стол, окруженный стульями. Окна синели, уже едва различишь акации у забора нашего палисадника и две клумбы с умирающими астрами. При первых звуках рояля и голоса все привычное, будничное, надоевшее исчезало, голос уносил меня в иные, неведомые края. Где-то прекрасные женщины роняют слезы в бокалы вина («Из ваших синих подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз...»), а попугаи твердят: «Жаме, жаме, жаме» и «плачут по-французски»... Где-то существуют притоны Сан-Франциско, и лиловые негры подают дамам манто... Я видела перед собой пролеты неизвестных улиц, куда кого-то умчал авто, и хотела мчаться в авто и видеть неизвестные улицы... «В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю...» При этих словах внутри покалывало сладкой болью: вспоминался один августовский вечер.

Я гостила на даче школьной подруги Тани Ш. в поселке Лаошагоу. Тем августом Тане исполнилось четырнадцать лет (я была на восемь месяцев младше), и Танина мать, Ольга Ивановна, после наших долгих и слезных упрашиваний согласилась отпраздновать сей торжественный день ужином в курзале — так назывались тогда дачные рестораны с эстрадной программой. Нас с Таней давно волновали доносившаяся из курзала музыка, силуэты танцующих пар, и вот мы попали в это прекрасное место, мы впервые в ресторане, как взрослые, и пусть в наши бокалы налито не вино, а какая-то сладкая водица — все равно как взрослые! В качестве кавалера для Таниной сестры, семнадцатилетней Ири-

ны, был приглашен сын приятельницы Ольги Ивановны, студент Политехнического института Игорь. Ему двадцать один год. Он высок, строен, красив. Я влюблена в него уже две недели — любовь с первого взгляда. О взаимности и мечтать не смею: длинна, худа, нескладна, некрасива, да и лет мне мало... Но все равно эта тайная, безнадежная любовь осветила то лето в Лаошагоу, где каждую минуту либо в парке, либо у реки мог попасться Игорь (при этих встречах что-то внутри у меня обрывалось и падало), и утром было весело просыпаться при мысли, что человек этот где-то тут, рядом, я вспоминала каждое его ко мне обращенное слово вроде: «Где вы успели так загореть?» Или: «А вы, оказывается, хорошо плаваете!» Уже того хватало, что он вообще меня замечал, и я потом повторяла про себя на разные лады: «Где вы успели так загореть?», «Хорошо плаваете...»

Близкое присутствие Игоря, музыка, женщины в вечерних платьях, запах духов наполняли меня восторгом, я онемела, я не могла есть, хотя что-то вкусное дымилось на наших тарелках. Но недолго длилось это счастье. Внезапно Ольга Ивановна, сидевшая между мной и Таней, резко поднялась, схватила нас за руки и потащила к выходу... На эстраде выступал певец-юморист, а нас, от растерянности не сопротивлявшихся, тащила за руки Ольга Ивановна мимо столиков с изумленно глядящими людьми, мимо официантов, поспешно отскакивающих (у одного из них я плечом едва не вышибла поднос), тащила упорно, непреклонно, в сознании своей правоты, сердито бормоча: «Т а к о е петь при детях!», гордая своим возмущением, гордая тем, что вовремя услыхала, спохватилась и вот спасает нас, охраняет от разврата и зла... И мы стремительно приближаемся к выходу, и грохочет пустой стул, оказавшийся на нашем пути... Парк, стволы старых вязов, освещенные ресторанными окнами, тихий, теплый вечер, по августовскому небу покатилась и упала звезда, и сыростью пахнуло от близкой реки, и уже все позади — Игорь, запахи вина и духов, наш недоеденный ужин... Мы с Таней опомнились. «Мама, ты что?» — «Ольга Ивановна, почему?» — «Потому!» — «Мама, но мы вернемся?» — «Мы идем домой!»

Таня хныкала весь обратный путь: «Всегда с тобой так!.. Вечно ты все испортишь! Что он особенного пел? «Ваня с Машей...» — «Замолчи!» Я протестовать не смела, да и не могла — в горле ком, вот-вот разревусь, ведут домой, все кончено!

Добрейшая, лучших намерений исполненная Ольга Ивановна не догадывалась, что, не вытащи она нас с такой поспешностью, мы с Таней и внимания не обратили бы на слова песни, не вслушались бы, а позже не вспомнили б. А тут, насильно и шумно выведенные, вспомнили и запомнили, да так, что возмутившие Ольгу Ивановну слова («Ваня с Машей в том подвале даром время не теряли...») в памяти моей застряли на всю жизнь, столько прекрасных стихотворных строк ушло, забыто, а эта чепуха десятки лет засоряет голову.

Мой ресторанный опыт на том и закончился, и длился-то каких-то полчаса, но впечатление от него не изглаживалось долго. От запаха духов, от где-то раздавшейся музыки внезапно и сладко щемило сердце, и я видела столик на веранде, бокалы, вечерние платья, а главное, главное — Игоревы серые глаза. «О, как ты красив, проклятый!»

Когда я впервые услыхала Вертинского, я все еще была влюблена в Игоря, хотя за зиму видела его от силы два раза, а следующим летом и вообще не видела. Быть может, эта любовь стала бы угасать без питания, но песенки Вертинского ее оживили, подстегнули. Там ведь много говорилось о несчастной любви. Она уходит, Она бросает его, а Он молит: «Не уходи, не будь такой жестокой...» В другой песенке Она уходит, даже вещей своих не забрав: «На креслах в комнате белеют ваши блузки, но вы ушли, и день так пуст и сер...» Неблагополучно сложились и отношения с полькой, у которой «медно-змеиные волосы» и «тонкое имя Ирэна» и которой Он с эстрады свое сердце, как мячик, бросает: «На, ловите, принцесса Ирэн!»

Я сижу в кресле, поджав ноги, забыв все на свете, отдаваясь этому говоряще-поющему голосу, и было мне грустно, но и сладко — передо мной такая длинная-длинная жизнь, и все впереди — и рестораны, и бокалы, и пролеты улиц, и авто, и манто, и, возможно, притоны Сан-Франциско...

Однажды мать, вернувшись откуда-то раньше положенного времени (я и не слышала, как она снимала в передней пальто!), вошла, повернула выключатель и — с порога: «Что это ты слушаешь с таким идиотским лицом?» Оскорбленная, я хотела остановить патефон, но мать махнула рукой: «Погоди!» — послушала стоя. Усмехнулась. «Так. Вертинский. Песенки Пьеро». Голос отзвучал, аккомпанемент стих, я сердито, не глядя на мать, подошла к шипящему патефону и тут услыхала обращенные в мою спину слова: «Не знаю, не знаю. По-моему, пошлость! (Насмешливо.) А тебе очень нравится, да?» Я молча пожала плечами. Очень была обижена за Вертинского, за себя и мать в эти минуты почти ненавидела.

Однако слова ее, даже брошенные мимоходом, нередко вызывавшие у меня отпор и возмущение, свое действие оказывали. Было мне лет десять, когда мать одним-единственным словом отвадила меня от Чарской: «Что ты читаешь? Откуда? Этой дряни я тебе никогда не дарила!» На Чарскую в школьной библиотеке очередь, из рук рвут, и понятно: так интересно! Кроме Чарской, и читать ничего не хотелось. Скорее бы сделать уроки, залезть в кресло — и пошло: страхи, приключения, ужасы, юные героини постоянно падают в обморок, сознания лишаются (ах, почему я никогда не лишаюсь, так бы иногда нужно!), пепиньерки, парфетки, медамочки, слезы, истерики... А мать сказала: «Дрянь!» Девочки моего класса: «Княжну Джаваху» читала?.. Нет? Что ты! Так здорово!» А мать сказала: «Дрянь»... Нет, я не сразу бросила читать Чарскую, но уже что-то меня настораживало, отталкивало, раздражало...

Теперь вот Вертинский. Пошлость? Не верю. Все равно буду слушать, все равно будет нравиться. Я и слушала. Мне и нравилось. Но какая-то трещина в моем отношении к Вертинскому появилась. Музыка и голос завораживали по-прежнему, действовали гипнотизирующе, но, опомнясь, я ловила себя на том, что слова некоторых песенок беспокоят меня... Возникали подозрения, что брошенные в кресло «блузки» понадобились лишь для рифмы с попугаем, плакавшим «по-французски», лиловые негры, лиловые аббаты и манто нравились меньше прежнего, вызывали сомнения «медно-змеиные волосы» и многое другое... Но не в словах ведь дело! Когда Вертинский их произносил, сомнения исчезали, ничего не надо понимать, ни во что не надо вдумываться, а просто отдаваться этому голосу, этой манере петь, этой музыке... В те отроческие и юношеские годы и дома, и у подруг я часто слушала пластинки Вертинского, слушала с восхищением, смешанным, однако, с чувством неловкости. Очень нравится, а перед собой вроде бы неловко, что нравится. Таково было влияние матери.

В 1935 году Вертинский из Америки приехал на Дальний Восток, обосновался в Шанхае и посетил Харбин. На круглых харбинских тумбах афиши: «Концерт Вертинского в зале Железнодорожного собрания». Билеты стоили дорого. Впрочем, для нашей семьи все было дорого в те годы, все не по карману. На концерт я попала благодаря Катерине Ивановне Корнаковой.

Мы сидели в первом ряду амфитеатра, напротив сцены. Под нами рокотал партер, белый зал ярко освещен огромной люстрой, все пришли в своих лучших платьях, обстановка торжественная, я взволнована... Люстра медленно гаснет, но освещается эстрада, из-за кулис выходит высокая, элегантная, во фраке фигура, утихший было зал взрывается хлопками и вновь затихает при звуках рояля... Звучит знакомый по пластинкам голос: «Рождество в стране моей родной, детский праздник, а когда-то — мой!..», «Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина...» После каждой песни буря аплодисментов, я отбивала себе ладони, косилась на Катерину Ивановну, видела ее порозовевшую щеку, блестящий глаз, она тоже хлопает, ей нравится, как я рада, что ей нравится!

А я наслаждаюсь, я плыву в блаженстве! На пластинках лишь голос, а тут он сам, с этой удивительной игрой рук, с этими неожиданными превращениями... «Матросы мне пели про птицу, которой погибших жаль... Она открывает двери матросам, попавшим в рай!» Вдруг расправил плечи, вроде бы даже прошелся враскачку, по-матросски, и «Как трудно на свете этом одной только песнею жить...» — матрос исчез, перед нами уже бродяга-поэт, усталый, ироничный...

Какой он большой, широкоплечий, а в походке, в манере кланяться что-то развинченное, капризное, чуть ли не женственное, но это идет ему, это в стиле его песенок, он прекрасен. И зал считал, что прекрасен! Эта элегантная фигура, прибывшая к нам из парижских ресторанов и притонов Сан-Франциско, не вписывалась в провинциальность Харбина, она чудом появилась на его подмостках, Харбин это чувствовал, был признателен, исходил аплодисментами...

«Какой актер! — говорила в антракте Катерина Ивановна.— Руки гениальные! Каждая песенка — маленькая пьеса, чувствуете?» Я радостно уцепилась за слово «актер». Вот что я в нем ощущала, даже не видя его, вот почему люблю его песни. Дома объявлю матери: «Он талантливый актер, руки гениальные, это Катерина Ивановна сказала!» В тоне моем будет слышаться: «Уж Корнакова-то понимает, кто актер, а кто не актер!» И я буду отмщена за тот далекий вечер, когда мать сказала: «Что это ты слушаешь с таким идиотским лицом?» Затем: «По-моему, пошлость!» И еще: «Голоса-то ведь нет никакого!»

Голос! А ему и не нужен голос. Он актер. Он скорее мелодекламатор, чем певец. И пусть слова некоторых его песенок не слишком удачны, пусть даже пошловаты, пусть. Не это главное. Главное то, что он актер, ни на кого не похожий, создатель своего особого жанра. Вот в чем его сила! Теперь, спасибо Корнаковой, я могла без чувства неловкости перед собой наслаждаться пением Вертинского.

В следующий раз я слушала его в Шанхае.

Ни фрака, ни люстры, ни белого зала, ни того приподнято-торжественного настроения, какое бывает во время концерта заезжей знаменитости. Накурено, надышано, подвыпившие люди за столиками, эстрадное возвышение для маленького джаза, всхлипывания саксофона, посетители танцуют, затем возвращаются за столики, а на площадке появляются цыгане. Мужчины в жилетах, расшитых блестками, женщины в пестрых юбках и платках, звенят мониста, пляшет знаменитый Шурик, смуглый мальчишка лет девяти, пляшет красотка Маша, девочка лет пятнадцати... Оба бойко, на ходу, почти на лету, выхватывают протягиваемые им посетителями долларовые и пятидолларовые бумажки... Дети отплясали, вперед выходят два гитариста, а рядом возникает высокая знакомая фигура не во фраке, в обычном темном костюме, подтянутая, элегантная... «Жалобно стонет ветер осенний, листья кружатся поблекшие...» Припев: «В Самарканд поеду я, там цыгане ждут меня...» — подхватывал цыганский хор, и ему фальшивыми голосами азартно подпевал зал, а Вертинский не пел, лишь плечами поводил, лишь длинными пальцами прищелкивал... Тут из ночи в ночь исполнялся весь репертуар эмигрантских кабаков: «Очи черные», «Две гитары...», «Ехали на тройке с бубенцами..», но Вертинский в это заигранное, затрепанное, запетое вносил свое, новое, импровизировал, внезапно в тексте возникали «серебряные руки»,

появлялись иные жесты, и строгая фигура в темном костюме среди блесток и монист казалась не только уместной — необходимой! Тут часто пелась песенка явно не цыганского происхождения с припевом: «Ай-ай-ай, девочки, где вы теперь? Ай-ай-ай, куколки, люблю, поверь!» И лишь Вертинскому с его актерским даром и музыкальностью удавалось произносить эти слова так, что их идиотизм не вызывал ожесточения...

Позже он выступал один, в своем репертуаре, под рояль, аплодировали бешено, денег со столиков ему не бросали. Впрочем, однажды было и это... Владелец мехового магазина, сильно в ту ночь разгулявшийся, швырнул под ноги Вертинского, когда он, отпев, раскланивался, скомканную купюру, и я видела, как изменилось лицо артиста (дернулся рот, гневно раздулись ноздри), и вот он ушел, будто не заметив брошенной банкноты, даже наступив на нее. Разгулявшийся не понял. Криком вслед: «Эй, Вертинский!» подозвал официанта: «Поднять!» и «Хозяина ко мне!» Явился хозяин (русский армянин, чернявый, длинноносый, с печально-добрыми глазами) и вместе с дамами, сидевшими за столиком купца, долго его упрашивал, унимал, уговаривал...

У Вертинского был здесь свой столик, не в зале «ночного клуба», а в соседнем, ресторанном... Поклонники посылали ему туда бокалы шампанского на подносе, иногда вино, коньяк. Такие подношения он принимал. Бывало, что какая-нибудь веселая компания приглашала его за свой столик, принимал и это. Он что-то там рассказывал, стоял хохот, и мне, сидевшей в уголке с моим скучным и добрым приятелем Мишей, ради меня таскавшимся еженедельно в это кабаре (мы заказывали кофе, иногда две бутылки пива, и официанты презирали нас), мне очень хотелось за тот веселый стол, узнать, каков Вертинский не на эстраде, в жизни, но меня туда никто не звал... Однажды в середине ночи, ночи субботней, все столики заняты, в зале появился хозяин, руководя внесением и установкой нового столика, забегали официанты, и было ясно: на подступах богатый гость. И вот он появился, с ним две дамы, официант, почтительно семеня, ведет гостя к столу (там уже шампанское в ведерке и розы), в этот момент ни выступлений, ни танцев, зал освещен, все видят нового гостя, с ним здороваются, и он приветственно помахивает ладонью, а некоторым пожимает руку, ибо чуть не все тут его знают и он знает всех... Я вижу вдруг, что и ко мне обращены его взгляд и улыбка, чему удивлена безмерно, ибо знаю его мало, не была даже в том уверена, что он узнает меня... Я польщена этим неожиданным вниманием, тоже улыбаюсь, тоже киваю, ловлю себя на низкотщеславной мысли, что все и, главное, нас презирающие официанты видят расположение ко мне богатого гостя, а он приближается, он и со мной хочет за руку поздороваться, я с улыбкой приподнимаю в ответ ладонь и вдруг вижу, что и дружеский взгляд, и улыбка не ко мне обращены,

а к кому-то за соседним столом, там, минуя нас с Мишей, мимоходом останавливается богатый гость, и его встречают приветственными кликами... Через минуту он уже сидит у себя за столом, одним глазом смотрит в меню, другим куда-то в сторону, как я могла забыть про эти косящие глаза, про этот неуловимый взгляд, никогда не известно, на кого именно смотрит этот человек, впрочем, меня ведь учили, что следить надо за его правым глазом, а на левый внимания не обращать, или наоборот? Мне стыдно перед собой, перед Мишей, перед всеми, кто видел, как я, польщенно улыбаясь, потянулась вперед, руку приподняла — мне кажется, что это видели все! — и я похлопываю себя пальцами по щеке (будто за этим и руку поднимала!), но куда девать кивки, куда улыбку? Миша деликатен, смотрит в сторону, будто не заметил ничего, я же от стыда становлюсь суетливо-говорливой... Сообщаю Мише, что новый гость — это Кауфман Евгений Самойлович, издатель газеты «Шанхайская заря», «Тяньцзинская заря», харбинского журнала «Рубеж» и там же выходящей вечерки «Рупор»... Добавляю не без злорадства, что в редакции «Шанхайской зари» Кауфмана называют «Женька косой» и «Женька-кровосос».

Этими печатными органами Кауфман владел, впрочем, не один, а в компании с вдовой некоего Лембича, польского еврея, сумевшего в свое время организовать сразу несколько изданий в трех городах Дальнего Востока. Портрет Лембича — горбун с умными глазами — украшал издательский кабинет «Шанхайской зари». Красивая молодая вдова Лембича в редакции появлялась не часто (запах духов из передней смешивался с прокуренным воздухом репортерской, в проеме двери промелькивала женская фигура в мехах, и кто-нибудь из репортеров произносил, дурачась, утробным голосом: «Мадам пожаловала!»), а всем заправлял Кауфман, хозяйским оком надзирая за всеми изданиями, жил между тремя городами, в Шанхае появлялся периодически.

Плотный, среднего роста, с рыжими кустиками бровей, косой, с ярко выраженной семитской внешностью, он, явившись, все вокруг себя зажигал, энергия адская! И весьма некрасив, и совсем не молод (лет пятьдесят), а рядом всегда прелестные молодые женщины, притягиваемые, быть может, не одними корыстными соображениями, а жизнелюбием этого человека. Жизнелюбие всегда привлекательно...

Тут, в кабаре «Ренессанс», Кауфман сначала танцевал с одной из своих спутниц, затем упоенно подпевал цыганам, потребовал, чтобы Вертинский повторил: «Ай-ай-ай, куколки...», после чего кинулся приглашать его за свой стол. Кауфман не темный купец. Кауфман с Вертинским дружествен, даже почтителен, и Вертинский держится без настороженности, а просто и весело... Вон они там хохочут, чокаются, я все поглядываю на их столик и вдруг с изумлением вижу, что оба оборачиваются, смотрят на меня. Вертинский-то определенно на меня, а Кауфман — бог его знает, вечно я забываю, какой из его глаз... Встают. Идут, нет, не к нам, конечно, а к компании, гуляющей за соседним столом...

Но остановились около нас, и — голос Кауфмана (южное произношение с мягкими «ш» и «ж»): «Вот она, наша мисс Пэн!» Мне: «Александр Николаевич хвалил ваш вчерашний фельетон, интересовался: какая вы? Говорю: за чем дело стало? Я вам сейчас ее покажу! Пожелания любимого артиста выполняются нашей фирмой немедленно! Ха-ха-ха!» Я пожимаю протянутую Вертинским руку, представляю ему и Кауфману вскочившего Мишу, я растеряна, я счастлива, Кауфман в эти минуты мне симпатичен чрезвычайно, я слышу голос Вертинского: «Помилуй нас боже! Я был убежден, что псевдонимом «мисс Пэн» прикрылась пожилая толстая дама!» Кауфман торжествующе: «Я ж вам говорил!» Тут он удалился, а Вертинский подсел к нам, увидел стаканы с жалкими остатками пива, подозвал официанта: «На моем столе бутылка вина. Откройте и принесите!» Затем, обернувшись ко мне, с усмешкой: «И долго плакал от испуга, умом царицы поражен, великолепный Соломон!» На мой вопросительный взгляд: «Откуда? Не помню. Но кажется — Саша Черный. Кстати! Вы знаете его поэму «Песнь песней»? «Царь Соломон сидел под кипарисом и ел индюшку с рисом. У ног, как воплощенный миф, лежала Суламифь». Не знаете? Сашу Черного знать следует, особенно вам, уважаемая мисс Пэн!»

Так стихами началось наше знакомство, стихами и продолжалось. Вертинский знал их великое множество, недурная память была и у меня. Вскоре возникла игра в «откуда это?»... «О, этот Юг! О, эта Ницца!» — с отвращением произносил Вертинский мучительно влажным шанхайским летом, когда и вечер не приносил облегчения. Вытирал взмокший лоб и тут же, хитро прищурившись: «А кстати! Откуда это?.. Молчите? А просто Тютчев! Тютчева надо знать, драгоценнейшая мисс Пэн!» Вскоре мне удавалось отомстить. Я цитировала две-три строчки и — торжествующе: «Не знаете? А просто Блок!»

* *
*

Теперь мне придется на некоторое время покинуть Вертинского, чтобы объяснить, каким образом я стала «мисс Пэн».

На третий, что ли, день моего приезда в Шанхай я явилась в редакцию газеты «Шанхайская заря». Главного редактора, Льва Валентиновича Арнольдова, моя мать знала молодым журналистом в Харбине двадцатых годов и написала ему письмо, спрашивая, нет ли возможности пристроить меня в газету.

Это была, разумеется, эмигрантская газета, как и большинство изданий на русском языке, выходивших в городах Дальнего Востока. Среди изданий этих были такие, которые материально поддерживались иностранцами,— газеты «Харбинское время» в Харбине и «Русь» в Шанхае субсидировались, например, японцами. Насколько мне известно, газеты и журналы, организованные Лембичем, и в том числе «Шанхайская за-

ря», субсидий не получали, были изданиями коммерческими: не было в Шанхае эмигрантского магазина, ресторана, конторы, аптеки, врача, нотариуса, которые не рекламировались бы в «Шанхайской заре»... Газета существовала давно, считалась солидной, была, пожалуй, наиболее популярной среди шанхайских русских, поэтому и иностранные фирмы не брезговали рекламировать там свои товары. Дешевый труд китайцев-наборщиков и сотрудников-эмигрантов давал возможность издателям не только сводить концы с концами, но и доход получать...

Меня не тревожила мысль о том, что я стремлюсь попасть в сотрудники эмигрантского издания.

Я тянулась к России, рассказы Катерины Ивановны о Москве волновали меня, и время от времени я упрекала мать: зачем мы уехали? Живут же там люди! Им трудно? Будто нам здесь легко? Зато там они среди своих, а мы тут пришлые, никому не нужные. Мать всерьез меня не принимала, до споров не снисходила, и наши разговоры на эту тему кончались обычно такими ее словами: «Одни голые эмоции! Берешься рассуждать, а ничего толком не знаешь. Хоть бы газеты, что ли, читала!»

Мать была совершенно права. Спроси меня в то время, какие революционные партии существовали в моем отечестве, что представляла собою Февральская революция и чем отличалась от нее Октябрьская,— на эти вопросы я ответить бы не смогла. Меня тянуло к России, но о том, что там делается, я почти что не имела понятия. А выросла я среди людей, которые не принимали, не признавали того, что в современной России присходит, и этот взгляд на вещи был мне привычен, время подвергнуть его сомнению для меня еще не настало, желания разобраться самой, отрешась от привычного, еще не возникло. Оно, желание это, возникнет позже, возникнет скоро, а в тот декабрьский день 1936 года, когда я впервые переступила порог «Шанхайской зари», соображения о том, что я собираюсь сотрудничать в эмигрантской газете, меня, повторяю, не тревожили. Тревожило другое. А вдруг ничего не выйдет, и Арнольдов, главный редактор, не даст мне возможности устроиться в газету, получить хоть какой-то заработок...

Тревога моя была вполне основательной... Штатные места с фиксированным жалованьем разобраны давно, репортеры же работали на сдельной, построчной оплате. Уголовная и городская хроника, рецензии на концерты и спектакли, интервью с заезжими знаменитостями — все эти отделы имели постоянных авторов. Они между собою вечно грызлись, однако при виде нового человека, покушавшегося на место в газетной полосе, мгновенно и дружно объединялись, близко не подходи, а попробуешь — убить могут! Именно такое впечатление сложилось у меня однажды вечером, когда я, сопровождаемая Арнольдовым, впервые вошла в «репортерскую». Грохотали сразу пять пишущих машинок, при нашем появлении смолкли, Арнольдов представил меня, я увидела пять пар вспыхнувших ненавистью глаз, мы вышли, машинки застучали вновь с удвоенной, яростной силой, и было чувство, будто нам в спины пущена пулеметная очередь...

Арнольдов был таким же служащим, как все; как все, зависел от издателей, но эти «все» ненавидели не только Кауфмана, не только «мадам», но заодно и Арнольдова. То ли за то, что он, как редактор и бессменный автор передовиц, зарабатывал лучше других. То ли за его барственные повадки, любовь к чтению нотаций, восторженное отношение к иностранцам и членство во Французском клубе, куда эмигрантов допускали не так уж охотно...

Арнольдов жил неподалеку от редакции, являлся туда несколько раз в день и неизменно в полночь — проглядеть, подписать последние полосы. Шел по коридору своей гусиной походкой, развернув ступни, заглядывал в репортерскую — невысокий, лысый, голубоглазый, с уютным брюшком, в пухлой, женской руке сигара. Бело-розовый и выхоленный, он одевался на иностранный манер — пиджаки из рыжего твида, серые фланелевые брюки, вязаные жилеты... А бывало, что ночью Арнольдов появлялся в лакированных ботинках и видневшемся из-под пальто смокинге, что означало: только что с банкета! В этой прокуренной, с грязными стенами репортерской он выглядел существом из иного мира, из мира коктейлей, дорогих отелей и автомобилей последних марок. Стоя на пороге, слегка покачиваясь на носках, Арнольдов снисходительным взглядом окидывал репортеров в их кургузых пиджаках с чужого плеча (раз в год в помещении англиканской церкви «Юнион черч» устраивалась благотворительная ярмарка, где неимущие эмигранты могли приобрести за полцены поношенные, богатыми людьми пожертвованные предметы одежды), произносил: «Ну-с, ну-с, трудитесь!» — и исчезал, оставив после себя запахи сигары, одеколона, иногда чего-то приятно-алкогольного. Арнольдова начинали поносить, едва за ним закрывалась дверь, а уж смокинг особенно тяжело действовал на нервы репортеров... Интеллигентная дама средних лет, знающая иностранные языки (брала интервью и писала рецензии), и вполне малограмотный уголовный репортер в обычное время терпеть друг друга не могли, но в эти ночные часы, ругая Арнольдова, проявляли полное, почти любовное единодушие: ненависть — великая объединяющая сила...

В этих поношениях я участия не принимала, в мою сторону косились враждебно, и я знала: стоит мне выйти за дверь, будут ругать и меня. Уже пришлось однажды слышать, как интеллигентная дама, едва я вышла из комнаты, громко кого-то спросила, понимая, что я услышу ее слова: «Интересно, с какой целью Левка сунул к нам эту бездарную девчонку?»

Арнольдов был холостяком, делил квартиру со своей матерью, к женщинам был равнодушен, и лишь этот общеизвестный, часто с глумлением обсуждавшийся факт спасал меня от позорных подозрений, что я собственным, так сказать, телом заплатила редактору за возможность проникнуть на газетные полосы... Убеждена, что репортерам полегчало бы от этого объяснения,— оно было бы так понятно, просто, общедоступно, человечно,— но, увы, к данному случаю не подходило ни-

как, и оказываемое мне Арнольдовым покровительство терзало сотрудников газеты своей загадочностью...

В тот декабрьский день, когда я впервые переступила порог арнольдовского всегда темного кабинета (единственное окно — в стену соседнего дома), главный редактор, сидя за своим столом у зеленой лампы, освещавшей гранки, сырые полосы и прочие бумаги, задумчиво глядел на меня, держа сигару над пепельницей... Он уже сообщил мне: штатных мест нет, возможности работать построчно тоже нет, а я не уходила, надеялась на что-то...

В Шанхае я остановилась у некой Анечки М., переселившейся сюда лет пять назад, а до этого жившей в Харбине и бравшей уроки английского языка у моей матери. Мать была счастлива, когда в ответ на ее письмо пришло Анечкино согласие разделить со мной комнату в пансионе. Матери казалось, что под крылышком Анечки, такой серьезной, работящей, положительной и не слишком юной (лет под тридцать), я не пропаду... Хозяйкой пансиона (комнаты сдавались с обедами) была женщина средних лет с типичной биографией хозяек шанхайских эмигрантских пансионов: в молодые годы работала в баре, нашла себе там иностранного «покровителя», а позже, выйдя в тираж, на скопленные деньги купила квартиру и стала сдавать комнаты. Комнат было пять или шесть, их снимали мелкие служащие и девушки из баров, хозяйка весь день ходила в халате и прокуренным голосом давала советы... О конторской работе в Шанхае нечего и мечтать, это лет пять назад еще можно было на такое надеяться, а сейчас — что вы! Город наводнен харбинцами, и они все едут, все едут... И надо быть очень осторожной: по городу шныряют торговцы «живым товаром», обманом увозят провинциальных дур в Гонконг или в Манилу и там продают в публичные дома...

После оцепеневшего в тисках японской оккупации Харбина Шанхай оглушил и ослепил меня многолюдьем, автомобилями, яркостью вывесок, богатством витрин, многоэтажностью современных, доселе мною не виденных зданий... В пансионе я успела наслушаться и хозяйкиных предупреждений, и телефонных разговоров, ведущихся на ломаном английском языке девушками из баров со своими возлюбленными, и чьих-то рыданий за стеной... Только двое жильцов (Анечка и билетный контролер, работавший в Трамвайной компании) уходили утром на службу, а другие обитатели пансиона — три молодые женщины — спали до полудня, затем бродили в халатах, вялые, непричесанные, бледные, к вечеру же преображались, красились, пудрились, надевали меховые накидки поверх длинных платьев, становились молодыми, красивыми и исчезали. В окно я однажды видела, как одна из них, освещенная лампой подъезда, ежилась от сырого зимнего ветра, а затем, остановив пробегавшего рикшу, долго усаживалась в его коляску, стараясь не измять, не испачкать подол длинного платья (подобрала его, разложила на коленях), и вот уже головы и плеч ее не видно (идет дождь, над коляской

поднят брезент), и рикша рванул с места, побежал, закачался брезент, а я подумала мрачно: «В пролеты улиц вас умчал авто...»

Арнольдов бывал в нашем доме в начале двадцатых годов, я смутно его помнила, но он, знавший моих родителей, видевший нас с сестрой маленькими девочками, он в те минуты казался мне пристанищем, прибежищем, спасением, не хотелось уходить из его кабинета, от стола, заваленного бумагами... Здесь делалось дело знакомое, привычное — мать и работая в школе связи с газетами не теряла, то переводила, то писала рецензии, я часто заходила в редакции с ее поручениями, и сейчас запах типографской краски, исходивший от сырых полос, казался мне чрезвычайно родным и единственно понятным в этом чужом, пугающем городе.

Газетного опыта у меня, разумеется, не было никакого. Но это не смущало ни мать, написавшую письмо, ни Арнольдова, презрительно считавшего, что с хроникерскими заметками справится каждый, ни меня. Мне бы лишь зацепиться, мне бы ногу поставить, а я все смогу, а чего не умею — прикажите — научусь!

Внезапно Арнольдов промолвил, что газете не хватает только одного: юмористического пера. «Шанхайская заря» перепечатывает из парижских газет то Тэффи, то Дон Аминадо, то еще кого-то... А хотелось бы иметь фельетониста на темы местные... Он отделаться от меня рассчитывал, от моих устремленных на него с мольбой и надеждой глаз, но отделаться ему не удалось. Напротив. Я оживилась и сообщила, что именно фельетоны писать я могу. Не только отчаяние толкнуло меня на это нескромное заявление. Я и в самом деле писала фельетоны, этакие юморески из жизни нашего класса в школьный рукописный журнал. Арнольдов удивился: «Смело, смело! Хотите сразу начинать с верхнего этажа?» Добавил наставительным тоном, что фельетонист должен обладать особой жилкой, с которой рождаются и приобрести которую не помогут ни опыт, ни образование, ни даже писательский дар... Затем сделал еще одну попытку от меня отвязаться: «Ну, если уж вы так храбры, напишите что-нибудь на пробу. Допустим, о вашем путешествии из Харбина в Шанхай, о ваших спутниках, их надеждах, о первых впечатлениях от нашего «желтого Вавилона»...»

Вскоре я вновь появилась в редакции, Арнольдова не застала, оставила на его имя мною написанное... Надеялась, что он мне позвонит, но звонка не последовало. Шли дни. Я ходила по иностранным конторам, предлагая свои услуги в качестве машинистки, было стыдно возвращаться в пансион ни с чем, хозяйка все убеждала меня пойти работать в бар, но Анечка, уважавшая мою мать, была против. Анечка советовала мне попробовать свои силы в качестве сборщицы объявлений: фиксированного жалованья нет, платят проценты, но некоторым удается прилично зарабатывать...

Вечерами я долго не могла уснуть, все считала, сколько у меня осталось денег и что будет, когда они кончатся. На соседней кровати мирно

спала Анечка. Она работала на мелкой технической должности в мощной американской фирме «Шанхай пауэр компани» — 75 долларов в месяц, этого и на пансион хватает, и одеться можно. Утром она вливается в толпу служащих, атакующих трамваи и автобусы, ах, как бы мне хотелось тоже туда влиться, и чем Анечка лучше меня, ей просто повезло, она вовремя в Шанхай приехала... Белые кружевные воротнички, белые ручки, ноготки, покрытые бледно-розовым лаком, голубоглазая, длинноносая, скучная, глубоко положительная. Мне бы любить ее, быть ей благодарной (ведь приютила!), а я не люблю, что-то в ней постоянно раздражает меня, это низко, скверно, это, видимо, зависть...

Неприязнь моя к Анечке, как я теперь понимаю, объяснялась чрезвычайной несхожестью наших натур. Анечка убеждена была (и справедливо!), что я не сделаю карьеры в качестве служащей иностранной конторы, а значит, ни на что путное не гожусь. Под взглядом Анечки я чувствовала себя нескладной, неловкой, ощущала свою неполноценность, отсюда и нелюбовь моя к ней, ибо не всегда ли наше отношение к окружающим зависит от того, какими глазами они видят нас?

Никто не звонил мне, прошло уже дней десять, я простилась с мечтой о газете, когда однажды хозяйка пансиона протянула мне «Шанхайскую зарю»: «Какая-то мисс Пэн тут пишет, как она из Харбина ехала... Ну в точности все, как вы нам рассказывали, и про старушку, что к сыну едет, и про качку на пароходе, и про... » Я выхватила газету. Я увидела знакомые слова, знакомые фразы, написанные мной, мной, мной. Не поверила глазам. Но сомнений не было: это написала я, я, я! Почему же «мисс Пэн»? Догадалась: это псевдоним, придуманный мне Арнольдовым. Впервые в жизни я видела свои слова, набранные типографским шрифтом,— незабываемые минуты! Голосом неверным от радостного волнения я сообщила хозяйке, что мисс Пэн — это я! Впечатления никакого. Выпустила из ноздрей дым. «Неужели? Да. Между прочим. Милочка говорит, что у них в «Аркадии» девчонка одна из бара то ли совсем ушла, то ли захворала. В общем, когда Милочка проснется, вы ее расспросите!»

Середина дня. Анечка на службе, девочки из баров еще спали, бодрствовали лишь мы с хозяйкой. Я уединилась с газетой в нашу с Анечкой комнату. Читала. Перечитывала. В этой комнате рожденное, моим почерком написанное, домашнее, любительское в газете преобразилось, приняло иной, серьезно-профессиональный вид, звучало иначе, звучало прекрасно... Как мило! Как остроумно! И это написала я, я, я! Мама обрадуется! Но что-то неприятное, что-то скребло? А, да! Хозяйка и Милочка из «Аркадии». Это чтоб я пошла за стойку, разливать пьяным коктейли? С ума сошли! Не понимают, с кем имеют дело. Меня напечатали!

Я позвонила Арнольдову. Он сказал веселым голосом: «А! Прочитали! Поздравляю! Слушайте, а жилка-то у вас есть, штука, между прочим, редкая, я удивлен. Как псевдоним? Понравился?» (Обмякнув от сча-

стья, я пробормотала, что понравился. Назови он меня как угодно, мне бы все понравилось!) Мама хочет с вами познакомиться, так что прошу ко мне завтра в час дня».

Я завтракала у Арнольдова. Познакомилась с мамой: полная, низенькая, седая и чернобровая старушка с живыми глазами. Мать обожала «Левушку», сын платил ей тем же. И мама, и сын хвалили меня. «Очень, очень мило!» — говорила мама. «Фельетонист из вас получится, думаю — не ошибаюсь!» — говорил сын. «Левушка никогда не ошибается!» — восклицала мама. Было мне сказано, что «Левушка» постарается убедить издателей печатать мои фельетоны регулярно, скажем, раз в неделю. Еще было сказано, чтобы я продолжала искать работу, на газетный заработок не проживешь. Но я смутно восприняла это предупреждение... Был слякотный шанхайский январь, путь мой лежал через прекрасную улицу Кардинал Мерсье: справа белое здание Французского клуба и забор сада, напротив многоэтажный отель «Катей Меншэнс», к нему лепится целый квартал одинаковых одноэтажных строений — магазины одежды, косметики, галантереи с манящими витринами. Катились по асфальту машины, трусцой бежали рикши, дамы в мехах входили в магазины, этот город уже не пугал меня. Вкусно накормленная, осыпанная похвалами, я была бодра, верила в себя, шагалось весело...

По коридору пансиона бродили из ванной и обратно вялые, недавно пробудившиеся «милочки», хозяйка на кухне распекала повара, я с нетерпением ожидала возвращения из конторы Анечки — мечтала ей похвастаться, сообщить, что у меня есть «жилка», что я завтракала у редактора, буду писать в газете... Я помнила, что произведение мое, накануне вечером подсунутое Анечке, было принято ею холодно... Она читала, я жадно впивалась в нее взглядом — на бледном личике ни тени улыбки, ни признака оживления, будто перед ней не фельетон, а телефонный справочник или расписание поездов... Это пугало меня, мне мерещилось, что лицо Анечки — зеркало, в котором отразились бесцветность и скука мною написанного, я пала духом, подозревала Арнольдова в побуждениях благотворительных — напечатал из жалости, из уважения к моей матери... Но сегодня, после редакторских похвал, обласканная редакторской мамой, сегодня я в себе не сомневалась! Это в Анечке с ее беленькими воротничками, светлыми кудерьками и тонким голоском — это в ней сидит скука, скука непробиваемая! Не зеркало — стена! Но именно Анечке, относившейся ко мне покровительственно и немного свысока, именно ей хотелось разъяснить, что я не идиотка, нет, я способная, я, оказывается, писать могу, и сам редактор... Это я и взялась ей внушать в тот вечер, на ходу теряя оживление и уверенность, увядая под ее снисходительно-недоверчивым взглядом...

Невысокое обо мне мнение Анечки не изменилось и позже, когда фельетоны мои с того января 1937 года стали регулярно появляться на

страницах «Шанхайской зари». Те полгода, что нам оставалось жить бок о бок, Анечка читала мои произведения, настойчиво ей подсовываемые (почему я так хлопотала о ее одобрении?), читала с тем же равнодушием, серьезно к трудам моим не относилась, считала (и намекала), что я занимаюсь чепухой, в игрушки играю, на песке строю.

И по-своему была права. «Фельетонная жилка» в условиях эмигрантского существования не сулила мне никаких материальных благ. Арнольдов не мог добиться даже того, чтобы фельетоны оплачивались выше, чем хроникерские заметки. Я, впрочем, скоро поняла, что не Арнольдов был главным, после издателей, лицом в газете, а управляющий конторой Тепляков, известный среди репортеров под кличкой «Женькин цепной пес» или, короче, «Пес».

Контора — центральное, самое просторное помещение редакции — перегорожена прилавком, над ним решетка, в решетке три окошка. У окошек женщины, принимавшие плату за объявления и подписку и выдававшие гонорар сотрудникам. В левой стене комнаты (до решетки) дверь в кабинет ответственного секретаря, в задней стене (за решеткой) дверь, ведущая в «святая святых», в кабинет издателей, и рядом письменный стол Теплякова, как бы дверь охраняющего... Ведущая роль в редакции, принадлежавшая этому плотному, крупному господину средних лет, объяснялась тем, что «Шанхайская заря» — предприятие чисто коммерческое, существующее на объявления. Политика, и та была тут подчинена коммерции. Помню, как я, идучи к Арнольдову, так и не вошла к нему, замерла в коридорчике, услыхав за дверью голоса... Тепляков кричал на редактора. Он-де в передовице поддерживал правительство Чили, а один из постоянных клиентов газеты недавно прогорел на торговле чилийской селитрой и теперь обиделся и не желает платить за объявление! Арнольдов что-то униженно бормотал в свое оправдание... Когда мы, мелкие сотрудники, пробегали через контору в комнату ответственного секретаря, Тепляков косился на нас из-за решетки вполглаза, как, вероятно, косился бы из клетки лев цезаря Нерона на мимо шмыгнувшую мышь... Мы цепенели под этим взглядом, а позже в репортерской для поддержания своего достоинства мрачно острили, что место Теплякова именно за решеткой!

Платили нам не за строчки, за инчи[1], и почему-то по конторскому счету «инчей» получалось меньше, чем рассчитывали мы... Иногда вместо денег нам пытались всучить талоны на получение товара в прогоревший магазин, задолжавший газете...

А какое оживление царило в конторе, когда приходило известие о кончине какого-нибудь известного в городе эмигранта! Тепляков повисал на телефоне: «Иван Иваныч? Слыхали? Икс Игрекович приказал долго жить. Ну что ж! Все там будем! Значит, ждем от вас объявлены-

---

[1] Инч — английская мера длины (дюйм), равная 25,44 мм.

це!.. То есть как в «Последние новости»? Помилуйте, они же там большевикам подыгрывают, о панихиде могут и не взять! Нет, вы уж к нам, к нам!.. Ну, спасибо, ждем!..» «Сергей Сергеич, слыхали?» и т. п.

А вот Тепляков распекает интеллигентную даму. В своей рецензии она плохо отозвалась об актрисе любительского драматического театра, а муж актрисы, управляющий меховым магазином, правая рука хозяина, теперь может обидеться, объявление снять. «Если снимут, из ваших построчных вычтем!»

Нет, Арнольдов был никто по сравнению с Тепляковым! Ему, Арнольдову, прежде чем пропустить что-то в набор, следовало просмотреть все важнейшие минные поля торговых, дружеских, родственных отношений в городе, чтобы ненароком не взорвать свое утлое суденышко...

Работать в эмигрантском учреждении — только время терять, права была Анечка! В почтенной же иностранной фирме трудом, терпением, настойчивостью можно сделать карьеру, а уж если очень повезет, то устроить и личную жизнь, встретив одинокого иностранца, который оценит все твои положительные качества, включая сюда и девичью честь, сбереженную среди соблазнов и искушений «желтого Вавилона»... Это не говоря о том, что в иностранных фирмах есть законы, охраняющие интересы служащих, даже мелких, даже беспаспортных, а в предприятиях эмигрантских полный произвол... После августа 1937 года (начало японо-китайской войны) началась инфляция, цены росли, на иностранцах, получавших зарплату в своей валюте, это не отражалось, отражалось на китайцах, на эмигрантах, однако тем, кто служил в иностранных фирмах, жалованье прибавляли, мы же в «Шанхайской заре» получали те же построчные, точнее — «поинчевые». Однажды, возмущенные, полные сознания своей правоты, мы вломились в кабинет Кауфмана, откуда минут через десять вышли гуськом, понурыми овцами, не глядя друг на друга... Ибо Кауфман, дав нам высказаться,— причем один его глаз глядел вроде бы сочувственно, а другой был устремлен в потолок,— сказал печально и задушевно: «Боже ж мой, да разве я спорю! Я ж вас понимаю! Но я никого не держу. Ищите что-нибудь получше, а мы поищем других сотрудников! (Оживляясь.) И знаете? Найдем! Завтра же найдем!»

Даже в счастливые времена, когда мне удавалось захватывать чужие строки (кто-то захворал, кто-то запил), заработков моих едва хватало на оплату жилья. Но никто не мог жить на построчные. У интеллигентной дамы был муж, работавший администратором кинотеатра, репортеры уголовной и городской хроники тоже имели какие-то приработки на стороне.

По утрам я бегала собирать объявления для рекламного американского журнала и, не проявив к этому делу никаких способностей, ни одного объявления не достала, пробегала даром. Устроилась в только что открытую контору по экспорту китайской щетины, целых два меся-

ца отстукивала на английской машинке циркулярные письма, было лето, от монотонности работы и от жары клонило в сон, но я считала, что мне безумно повезло: обещали платить пятьдесят долларов в месяц, вместе с построчными и на комнату хватит, и на еду, и даже, размечтавшись, я прикидывала, что хватит и на новые туфли... Но мои работодатели (китаец и русский эмигрант) оказались жуликами, контору открыли для отвода глаз, никакой щетины у них не было, однажды они исчезли, ни копейки не заплатив мне за второй месяц... Какое-то время удалось поработать манекенщицей в салоне дамских нарядов некоей «мадам Элен». Салон вскоре прогорел, и мадам Элен скрылась от долгов в Гонконг, не заплатив ни мне, ни двум другим манекенщицам... Эмигрантский иллюстрированный журнал «Прожектор» нанял меня «шрофом»[1] — собирать деньги с подписчиков, а также с врачей, нотариусов и мелких эмигрантских лавчонок, рекламировавшихся в журнале. С этим я справлялась, это не объявления собирать — убеждать, врать, льстить и, будучи выгнанной в дверь, вновь появляться в окне. «Шрофом» быть проще: молча суешь счет. Тебе, конечно, не рады. Заставляют ждать в передней. Иногда говорят: «Зайдите завтра!» или: «Через неделю!» За утреннюю беготню и ожидание в передних «Прожектор» платил мне доллар в день.

Вечерами я стучала на машинке в прокуренной репортерской «Шанхайской зари». Писала я в те годы легко, вспомнить странно. Вокруг шум — спорят о чем-то репортеры, носится из линотипной и обратно суетливый рябой ответственный секретарь, истерично выкрикивая: «Господа! Не задерживайте! Линотиписты ждут!» Окна и дверь репортерской выходили на «крышу» — так назывался широкий выступ над первым этажом здания, огороженный низкими перилами и служивший сотрудникам балконом. На ту же «крышу» выходила и линотипная, куда постоянно бегал ответственный секретарь, и стоило ему отворить дверь, как в нее врывались музыка и хоровое пение: непосредственно против редакции находился ресторан «Ренессанс», где пели цыгане, где выступал Вертинский.

Но ничто не мешало мне. Шум, гром, споры, пение, а я стучу себе в уголке на машинке, посмеиваясь собственным шуткам. Недостатка в темах не было, годилось все: теснота в трамваях, разговоры в китайских лавках (смесь англо-китайских слов), и дворы, и дети, и улицы... Мои сменяющиеся работы позволили мне быстро вникнуть в быт эмигрантского населения, в его заботы, тревоги, беды, радости, надежды, разочарования... Строго говоря, писала я очерки, бытовые картинки, зарисовки, однако их принадлежность к жанру фельетона оправдывалась иронической манерой изложения. Один из фельетонов, обративший на себя внимание Вертинского (с чего и пошли наши добрые отношения),

---

[1] «Ш р о ф» — принятое в Шанхае тех лет слово. «Шрофом» назывался тот, кто посещал должников на дому или на работе.

был посвящен вундеркиндам и их тщеславным родителям и начинался так: «Кто-то сказал: с годами «вундер» становится все меньше, а «кинд» — все больше».

Знакомство с Вертинским ввело меня в быт ночного Шанхая, дало новые темы...

На иностранных концессиях города не было, кажется, ни одного ночного заведения, где бы не работали русские эмигранты в самых разнообразных ролях: швейцары, официанты, музыканты, цыганские хоры, «бармены», «баргерлс», «дансинг-герлс» (партнерши для танцев, которых называли также «такси-герлс»), акробаты, танцоры, танцовщицы... Они почему-то неизменно выдавали себя за иностранцев (мексиканцы, испанцы, норвежцы, шведы) и брали соответствующие псевдонимы. Это явление было, видимо, повсеместным, ибо эмигрантский парижский поэт Дон Аминадо с мрачным юмором советовал: «Называйтесь бразильцами, греками, но ни слова о том, что вы русские!» Кажется, году в 1939-м в Шанхай приехала из Индии «известная индусская танцовщица Индира Дэви» (так было сказано в рекламных афишах) и дала концерт в зале «Лайсеум» — специальное здание, сдававшееся под концерты... В оркестре чернобородые индусы в чалмах, играющие на национальных инструментах (преобладают ударные), и вот под дробь барабанов на сцене появляется невысокая худенькая женщина в сари, танцует, это и есть знаменитая индусская танцовщица Индира Дэви, ей аплодируют, и вдруг из третьего ряда возглас Вертинского, не бывшего, видимо, в силах удержать изумление: «Бог мой! Да ведь это Женька Петерсон!»

«Индира Дэви» и в самом деле оказалась русской, дочерью московской эстрадной певицы Лабунской, которую хорошо знал когда-то Вертинский. Уж не помню, в какую именно страну эмигрировала Лабунская, и там ее дочь вышла замуж за чеха, того назначили консулом в Индию, супруги прожили там столько-то лет, эти годы будущая «Индира Дэви» посвятила изучению системы йогов, открыла затем в Шанхае школу, а позже уехала в Америку, обосновалась в Голливуде...

Под собственным именем танцевала то в одном, то в другом ночном клубе Шанхая некая Лариса А., красивая, гибкая, синеглазая женщина, одаренная поэтесса, печаталась в эмигрантских журналах, выпустила книгу стихов «По земным лугам», но на стихи не проживешь, и вот — танцевала... В середине шестидесятых годов Е. Евтушенко, вернувшись из заграничной поездки, передал мне привет от Ларисы... Он познакомился с ней на острове Таити, где тогда постоянно жила Лариса с мужем-французом. Стихов давно не пишет (кому? для кого?), но русский язык не забыла и очень скучает... И сразу пришли мне на память строчки из песенки Вертинского на слова Тэффи: «...к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц».

Был у меня фельетон «Ночная авеню Жоффр». Некая Люся из своей жалкой чердачной комнаты с протекающим потолком идет на ра-

боту в кабаре. Там гримируется, переодевается и становится мексиканской плясуньей Лолой ди Дуарец. Возвращается домой под утро, трамваи уже не ходят, дождь, и из открытых до утра кабаков гремит модная в те годы песня: «И если жизнь на жизнь помножу, то ноль в итоге получу...»

Начавшаяся известность в кругу местной эмигрантской интеллигенции не только тешила мое тщеславие, но и поддерживала, помогая стойко переносить все ожидания в передних, и то, как мы с двумя другими манекенщицами, толкаясь плечами, переодевались в ванной комнате «салона дамских нарядов» под шипение «мадам Элен» («Не запачкайте, не сомните!»), и унижения, которым подвергал вечно нас обсчитывающий Тепляков, и многое другое... И уже не так, как прежде, терзало меня чувство неполноценности, испытываемое в присутствии Анечки и других здравомыслящих людей ее типа... Нет, ничто не могло меня заставить бросить мое малоприбыльное занятие, столкнуть меня с пути, который, между прочим, и привел меня к этой машинке, к этому столу, в этот дом, где я пишу сейчас то, что пишу.

* *
*

Журнал «Прожектор», для которого я собирала деньги за подписку и объявления, скоро прогорел,— мне уже казалось, что вылетает в трубу все, к чему я прикасаюсь! Но тут на помощь пришел Вертинский, устроив меня «шрофом» в ресторан «Ренессанс».

Посетители ресторанов, кабаре, ночных клубов редко платили наличными. Обычно подписывали счета (по-шанхайски «читы»). Это, разумеется, дозволялось не всем, а лишь лицам, чья кредитоспособность не вызывала сомнений у хозяина. Система «читов» била на психологию: посетитель, разгулявшись, подмахивал не глядя подсунутую ему бумажку, а уж потом, трезвым утром, хватался за голову: «Как? Сто двадцать долларов? Откуда? А это что? Жуль... вуль... буль... И закусок-то нет таких, чтобы на это начиналось! И не ел я никаких «вулей»! Нарочно пишут непонятно, сволочи!» Я молчала. Я «шроф». Мое дело передать. Счет швыряли обратно. «Пусть пришлют другой, и чтоб каждое слово разборчиво!»

Утром я получала от хозяина-армянина пачку «читов» и инструкции: к такому-то можно зайти домой, а к этому — ни в коем случае, этого надо ловить у него в конторе или в магазине. Гулял и веселился в компании неизвестной дамы. Жена и знать ничего не должна, упаси боже на нее нарваться! Наставляя меня, хозяин поглаживал развалившуюся на его коленях кошку, почесывал ей за ухом, она блаженно мурлыкала, и еще немало кошек бродило по пустому залу ресторана. Мыли полы, стулья стояли на столах кверху ножками, с трудом верилось, что через несколько часов — шум, гром, музыка, цыгане, мониста, Вертинский...

И его я тут изредка видела в утренние часы. Это означало: спать он еще не ложился. После закрытия «Ренессанса» какая-то веселая компания отправилась гулять дальше, в открытые до утра кабаки, увезла с собой Вертинского, и вот после бессонной ночи он по дороге домой зашел сюда выпить кофе и перекусить. «Дома», впрочем, у него тогда не было: случайные снимаемые комнаты либо в частных квартирах, либо в третьесортных отелях; наши с ним встречи и разговоры в те шанхайские годы неизменно происходили за столиками ресторанов или кафе... За пять лет, что я знала Вертинского в Шанхае, бывали периоды, что он в «Ренессансе» не работал, его переманивали к себе другие заведения того же типа, но, видимо, чудак армянин, любитель кошек, эти измены Вертинскому прощал, входил в положение ближнего; там ему обещали платить больше, я же прибавить не могу, чего ж обижаться?

Как у холостого парижанина есть излюбленное кафе, где ему годами за одним и тем же столиком подают утром кофе и круассаны, а в час дня завтрак, таким же привычным местом был «Ренессанс» для Вертинского, пел он там или нет... Вертинский — ночной человек. Встретить его в первую половину дня удавалось не часто, а если удавалось, то лишь в пустом и темном зале «Ренессанса»... Именно там я его видела за столиком в дальнем углу и в тот недолгий период, когда бегала «шрофом», и позже, когда редактировала еженедельную газетку «Шанхайский базар», а Вертинский был одним из моих немногих постоянных авторов.

Утренний Вертинский угрюм, хмур, на лице выражение брезгливости. Лениво тыкал вилкой в яичницу, не доев, отодвигал, отхлебывал черный кофе... В бытность мою «шрофом» дел к Вертинскому у меня не было, я кивала ему издали, он в ответ помахивал ладонью, иногда подзывал: «Посидите со мной. Хотите кофе?» Я косилась на хозяина, мне не сидеть, мне идти пора... «Успеете! Да сядьте ж, вам говорят!» Садилась покорно. «Бежать,— говорил Вертинский,— бежать из этой дыры, от этих кошек, из этого города, от этих людишек... Нет, объясните: зачем черт носил меня всю ночь по кабакам?» Объяснить этого я не могла, молчала. «Водку пил. Она меня не пьянит. Она меня только злит! Нет, бежать, бежать... И рад бежать, да некуда. Ужасно! Кстати, откуда это?» Я говорила, откуда... Замечая, что я сижу как на иголках: «Бог с вами, бегите. Действуйте. Хватайте за горло коммерсантов. Пили? Гуляли? Так платите, мерзавцы!» Я вставала, подхватывала сумку с «читами». «Боже, чем вы занимаетесь! Нет, бегите отсюда, бегите, пока не поздно!» Я уходила, не вполне понимая, откуда именно мне советуют бежать — из «Ренессанса» в частности или из Шанхая вообще?

Отношения у нас возникли настолько дружелюбно-простые, что я, бывало, поздно вечером, закончив работу в редакции, вместо того чтобы отправиться спать, забегала на часок в «Ренессанс», зная, что меня там приветят, даже накормят. Навстречу гремел цыганский хор, слышались

гитары, голос Вертинского, я смело садилась за его столик в первом ресторанном зале, ждала... Он кончит выступление, в том зале будут танцевать, он придет сюда. Приходил. Улыбался: «А-а! Труженики пера! Усталые и, подозреваю, голодные. Сейчас что-нибудь придумаем!»

Ночной Вертинский весел, бодр, шутлив. Прекрасный рассказчик, импровизатор, мистификатор... «Видел сегодня на улице рикшу. На спине надпись: «Рикша-экспресс». «Александр Николаевич, вы выдумали!» «Что вы! Клянусь вам!» Или утверждал с серьезнейшим лицом, что одна портниха, у которой шьет его знакомая, сочинила стихи: «Сегодня мотор переехал собачку, ах, ужасти, больно глядеть! Стояла, бедняга, просила подачку, а он переехал, и тут же ей смерть! Так знай же, о, знай же, шофер ты жестокий, а может, у собачки есть дети и муж, и маму к обеду они дожидают, а ихняя мама погибла к тому ж!» Я смеялась: «Это вы сами сочинили!» «Клянусь — портниха! Живет на Рут Валлон. Я вас с ней познакомлю!» Однажды заявил, что не мог под утро заснуть и явственно слышал разговор кошек на крыше: «Марррруся!» — говорил кот. «Я не Маррруся, я Варрвара!» — отвечала кошка... Рассказ был длинный, очень смешной, но запомнилось мне лишь начало...

Нас смешили шутки друг друга, это всегда почва для сближения. Вертинский часто влюблялся, но я никаких романтических чувств не вызывала в нем, наши отношения с самого начала сложились и продолжались как отношения друзей, я бы даже сказала — подруг. Рассказывали друг другу о своих романах, советовались, сплетничали, издевались над богатыми посетителями «Ренессанса» — не любили богатых. В «Ренсссансе» бывали и иностранцы, но не часто, основная же масса «богатых» — это предприниматели из эмигрантов, люди с коммерческим складом ума, владельцы магазинов и разнообразных предприятий, а также биржевые маклеры — всю жизнь не могу усвоить, чем именно занимаются биржевики, а в хаотических условиях Шанхая тех лет понять это и вообще возможности не было... Бывали тут спекулянты, богатевшие на инфляции,— прятали товары, ждали, когда поднимутся цены, затем выбрасывали на рынок,— и так называемые «торговцы воздухом», а это вроде моих сбежавших жуликов, экспортирующих щетину, которую они в глаза не видели... Одни «торговцы воздухом» прогорали и даже попадали в тюрьму, другим же удавалось разбогатеть...

Они являлись компаниями, редко с женами, чаще с «неизвестными дамами», пили, веселились, бросали цыганам деньги, звали Вертинского с ними посидеть... Он уходил, таинственно подмигнув мне и еще кому-нибудь подсевшему за его столик — «мексиканской плясунье», например, или гитаристу, в эти минуты свободному... Подмигиванье говорило: «Сейчас я их выставлю!» (Глагол «выставить» означал: «Чем-нибудь от них поживлюсь».) В открытые двери мы видели, как Вертинский что-то рассказывает торгашам и спекулянтам (те хохочут), затем приглашает танцевать одну из дам — та счастлива и горда,— после чего является обратно, а за ним шествует официант с подносом — нам несли бокалы

с вином, иногда шампанское, а бывало, приносили что-то съестное на скворчащей сковородке... Значит, Вертинский сказал: «У меня там друзья. Они еще не ужинали».

Итак, работал «сверх плана», чтобы нас накормить и напоить. Отправлялся во вражеский стан, возвращался с данью. Именно наличие двух «станов» я явственно ощущала в те годы и гордилась своей принадлежностью к этому, Вертинским возглавляемому, о котором им было сказано в песне: «...но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам!»

Всегда элегантный (умел носить вещи, к тому же рост, фигура, манеры), аккуратный, подтянутый (ботинки начищены, платки и воротнички белоснежны), внешне на представителя богемы не похож совершенно. А по характеру — богема, актер. Капризами, частыми сменами настроений, способностью быстро зажигаться и столь же быстро гаснуть напоминал мне Корнакову. И так же, как она, цены деньгам не знал, были — разбрасывал, раздавал, прогуливал, не было — мрачнел, сидел без них... Щадить себя не умел, о здоровье своем не думал (хотя и впадал иногда в мнительность!) и всегда был готов поделиться с теми, кто беднее его...

Многие молодые эмигрантки, работавшие в шанхайских кабаках, выросли в Харбине, в тихих, богобоязненных семьях, окончили средние школы, готовились, так сказать, к иной судьбе... У Вертинского были две посвященные им песни — «Дансинг-герл» и «Бар-герл». На его в России записанных пластинках этих песен нет, здесь он не пел их, и слов я не помню... Лишь обрывки удержались в памяти: «Вы в гимназии, церковь, суббота, хор так грустно и нежно поет, вы уже влюблены, и кого-то ваше сердце взволнованно ждет...» Затем: «Вы качаетесь с ним на качелях без конца, без конца, без конца...» Это Харбин. Во второй, шанхайской части песни героиня уже «качается» в танце с каким-то типом «без конца, без конца, без конца». И вот кульминация, отчаянный крик: «О, как бешено хочется плюнуть в этот нагло смеющийся рот!» (Тут имеется в виду немилый, но платежеспособный партнер, с которым приходится «качаться» в танце...) Это «Дансинг-герл». Вторую песню, «Бар-герл», не помню совсем.

Когда я слушала эти песни и видела лица женщин, слушающих Вертинского, мне вспоминалась известная сцена купринской «Ямы»: знаменитая актриса, из любопытства приехавшая с друзьями в публичный дом, поет там романс Даргомыжского «Расстались гордо мы...» и описание того, какой эффект производит эта песня на слушательниц. Видимо, нечто подобное происходило в душах женщин, внимавших Вертинскому: была юность, первая любовь, выпускной бал, мечты о светлой, чистой жизни, и вот на тебе! — шанхайский матросский кабак! Плакали, слушая. Вертинского обожали. Поклонялись ему.

Такие же страстные поклонники, готовые за Вертинского в огонь и в воду, были у него среди молодых мужчин, мальчиков неясных про-

фессий... Чем именно они занимались, сказать не берусь, но в конторах, во всяком случае, не трудились, это уж точно. Поскольку некоторые из них иногда ненадолго исчезали, есть все основания полагать, что деятельность их выходила за рамки закона... Мои диалоги с Вертинским: «Что-то Гриши около вас давно не видно?» «В тюрьме. Какие-то махинации с медной проволокой... Но Левка говорит, что доказать ничего не могут, и Гришу не сегодня-завтра выпустят...» Некоторые из мальчиков, упомянутый «Левка» и грузин Гига (оба красавцы!), не гнушались как будто и занятием, о котором в парижских стихах Тэффи устами молодого эмигранта сказано так: «Брошу все и пойду в альфонсы утешать американских старух...»

А бывало, придешь в «Ренессанс» — цыган нет. Исчез весь хор в полном составе. Где? «В тюрьме,— отвечал Вертинский,— они же воры. Ну, может, не все, но хватают всех, одна ведь семья!» Малютка танцор, девятилетний Шурик, любимец публики (ему бешено аплодировали, морщился один лишь Вертинский, бормоча: «Ненавижу детей в работе!»), был, говорят, заодно и первоклассным форточником, проскальзывал, как змея, в любую щель... Не пойму, зачем цыганам это нужно было. Либо заработков не хватало, либо воровали из чистой любви к искусству. Хор исчезал. Хозяин срочно искал замену, нанимались безработные в данный момент танцоры и гитаристы, но их предупреждали — работа временная, хор свое отсидит и вернется.

Широк, терпим был Александр Николаевич! Мне кажется, его привлекали так называемые «художественные натуры» (из братства «артистов и бродяг»), этим он готов был все простить, не вникая в то, чем они занимаются, на что живут... Надо же людям как-то устраиваться. Не судите, да не судимы будете... Радовался, когда в ореоле богатства и блеска в «Ренессансе» появлялись его молодые друзья — Левка, Гриша, Гига, загадочная Буби (о Буби речь еще впереди)... Садился к ним за стол, бывал с ними самим собой — веселым, добрым, открытым... Знал: сегодня они его угощают, завтра, возможно, ему придется их кормить. В два часа ночи «Ренессанс» закрывался, но неуемная компания желала ехать «дальше», в открытые до утра кабаки на далекой улице Ханьчжоу-Роуд, в западной части сеттлмента, в районе загородных иностранных клубов... Вызывались две или три машины-такси, компания рассаживалась. Спорили из-за того, с кем сядет Вертинский: «Дед с нами!», «Нет, с нами!».

По сведениям «Театральной энциклопедии», Вертинский родился в 1889 году, а значит, тогда было ему всего лет пятьдесят... Но и мне, и другим его друзьям он казался куда старее. Либо потому, что мы сами были очень молоды, либо потому, что, несмотря на всю свою подтянутость, Вертинский выглядел старше своих в энциклопедии указанных лет...

По-актерски, по-женски тщеславный, за своей наружностью следивший, от разговоров о возрасте уклонявшийся, явно молодящийся, он,

однако, не возражал против клички «Дед». Это как бы некая игра, участникам которой полагались клички. А Вертинский любил игры.

Этот человек — дитя десятых годов,— впервые появившийся на эстраде в 1915 году[1], воспевавший одиноких бедных деточек, кокаином распятых на мокрых бульварах Москвы, причисляемый к декадентам, нередко сравниваемый с Игорем Северяниным, называвший себя в одной из песенок «немного сумасшедшим и больным», не был ни больным, ни тем более сумасшедшим. Требовалась железная выносливость, чтобы вести ту жизнь, какую вел Вертинский в Шанхае. Ни дома, ни женской заботы. Ежевечерние выступления. Бессонные ночи. Романы. Курение. Алкоголь. Пить этот человек умел: подвыпившим я его видела, пьяным — никогда. Позже, когда Вертинский женился, ему пришлось, зарабатывая на семью, петь уже в двух местах; кончив работу в одном из кабаре французской концессии, в третьем часу ночи он отправлялся в ночной клуб «Роз-Мари» на Ханьчжоу-роуд, открытый до утра. И — ничего. Выдерживал. Не помню, болел ли он когда-нибудь. Право, еще в те годы, глядя на него, я вспоминала слова Чехова, утверждавшего, что эти декаденты — здоровеннейшие мужики!

Капризный и раздражительный, утром он двигался во враждебном мире (хмур, нелюдим), к вечеру же оживлялся, веселел, ощущал симпатию к ближним — свойство, присущее нервным людям, в особенности тем, кто ведет ночную жизнь. Никаких нарушений психики, однако, не замечалось в нем. Тем, кто видел его только на эстраде, кто знал его лишь как исполнителя песенок о «бананово-лимонном Сингапуре», о «лиловых неграх» и «испано-сюизах»,— этим людям трудно представить себе, каким шутником, острословом, юмористом, любителем розыгрышей бывал Вертинский. И с какой быстротой сам реагировал на шутку, хохотал до слез, весь отдаваясь смеху.

А до смеху ли ему было тогда?

Он вернулся на родину в 1943 году. Я — пятью годами позже. Поначалу жила в Казани и помню, как изумили меня рассказы о Вертинском, услышанные от моих новых знакомых. В рассказах фигурировал «вагон с медикаментами», который Вертинский подарил фронту, и уж не помню, что еще, но смысл сводился к тому, что Вертинский приехал в СССР богатым человеком. Я же, слушая эти легенды, видела перед собой одну и ту же картину. Ночь. Авеню Жоффр. Фигура Вертинского в коляске педикаба (рикша на велосипеде). Рикша жмет на педали, коляска открыта, сырой ветер, седок ежится, вобрав голову в плечи, кутается в пальто — путь предстоит дальний: «Роз-Мари» на Ханьчжоу-роуд. Я знала, что он там поет, даже слушала его там однажды, но, каким образом он туда добирается, об этом не думала, и вот увидела воочию (а он не видел меня!), и замерла на тротуаре, провожая глазами эту согбенную фигуру... Было это незадолго до его отъезда в Россию...

---

[1] Опять-таки по сведениям «Театральной энциклопедии».

Какой там вагон! Коляску родившейся в Шанхае дочке не на что было купить (кто-то подарил подержанную), американское сухое молоко «для малюток» тоже было не по карману, доставали друзья. Если вагон с медикаментами и в самом деле был подарен фронту, то это Вертинский мог себе позволить лишь на деньги, заработанные здесь, в России. Именно и только здесь один за другим шли концерты, дававшие полные сборы. Ничего подобного в Шанхае не было. И быть не могло.

Он пел в кабаках с цыганами и без них, была инфляция, жизнь дорожала, владельцы кабаков Вертинскому недоплачивали, хотя держались на нем, а постоять за себя он не умел. И вот одной из его поклонниц пришла в голову смелая мысль открыть собственный «ночной клуб», сделав Вертинского совладельцем: деньги ее, труд его, доходы пополам.

Ни имени, ни фамилии этой женщины не помню, а может быть, и вообще никогда не знала, все ее звали «Буби».

Эта «дама полусвета», как выражались в старину, внешним обликом напоминала не то учительницу, не то монашенку. Всегда в чем-то темном, скромном, с глухими воротничками, гладко зачесанные, собранные узлом на затылке пепельные волосы, худощава, стройна, элегантна, и на бледном узком лице темно-карие, почти черные глаза. Красавицей ее никто б не назвал, но в этой манере одеваться, держаться (всегда серьезна, печальна, улыбка редка) был свой верно угаданный стиль, была волновавшая мужчин загадочность, и этот контраст светлых волос с черными глазами тоже привлекал своей необычностью,— подозреваю, что волосы были умело обесцвечены... Обожала стихи. И не какие-нибудь — настоящие. Блок, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Иннокентий Анненский, Тютчев — Буби знала наизусть множество строк этих поэтов, любила декламировать сама (глуховатым, бесцветным голосом), но особенно любила слушать стихи в чтении Вертинского. Слушала, полуоткрыв рот, и какая-то отрешенность была в ее взгляде, граничащая с безумием... Думаю, стихи были для нее наркотиком: к ним убегала, в них погружалась, ими спасалась от жизни, которую вела...

Была ли у нее семья — мать, отец, братья, сестры? Не знаю. Откуда появилась она в Шанхае? И этого не знаю. Известно мне лишь, что в те годы был у нее богатый покровитель, кажется, американец. У наиболее благородных иностранных покровителей был обычай: отслужив в Шанхае свой срок, навсегда уезжая, своих возлюбленных они не бросали без средств, дарили им деньги, давая возможность встать на ноги, открыть «собственное дело». Некоторым женщинам встать на ноги удавалось. Оставив прежнюю профессию, они превращались во владелиц пансионов, салонов красоты, парикмахерских и мелких магазинов. Иные процветали. Для процветания требовались деловые, коммерческие качества, и жесткость, и твердость — умение не поддаваться жалости, ибо служа-

щие вечно канючат, просят им прибавить, а пансионные жильцы тоже канючат — умоляют не набавлять...

А что делать Буби, деловых качеств лишенной начисто? Быть может, ей следовало бы, посоветовавшись со знающими людьми, вложить деньги в какое-то предприятие, стать акционером фирмы, твердо стоящей на ногах... Но она решила открыть «ночной клуб».

Видимо, она слабо себе представляла, что это значит, чего требует... Мерещилось ей одно: обожаемый ею Вертинский, этот великий артист, наконец-то будет свободен от хозяев, его эксплуатирующих, сам станет хозяином, совладельцем, ибо не жалованье будет получать, а часть выручки...

В газетах объявления: все, все, все приглашались на открытие нового ночного клуба «Гардения». Вертинский. «Гардения». Вертинский. Эти слова, изображенные как русскими, так и латинскими буквами, смотрели со страниц журналов и газет, кричали с афиш: Вертинский! «Гардения»!

Реклама была поставлена на широкую ногу, все остальное на ту же ногу. Снято хорошее помещение где-то на стыке французской концессии и сеттлмента, приглашен один из лучших в Шанхае джазов, переманены из других ночных клубов мексиканские танцоры, норвежские акробатки (знаменитые сестры Нильсен) и, кажется, жонглер... Мексиканцы, норвежки и жонглер — все, разумеется, были русскими эмигрантами и радостно кинулись в «Гардению», к Буби, к Вертинскому.

Ах, это была светлая поэтическая мечта — артисты сами владеют предприятием! От прозы полностью отмахнуться невозможно: кому-то надо было сидеть за кассой, кому-то закупать вино и провизию и, укрывшись в задней комнате, щелкать на счетах... Но эти за кассой сидящие, на счетах щелкающие — они просто служащие. Владеют же предприятием и делят выручку артисты, артисты, артисты. Новый, интересный опыт! Все в «Гардению»! Все туда и мчатся. Сначала из любопытства, затем становятся завсегдатаями. Ведь там, в этом ночном новом заведении, особая, ни на что не похожая атмосфера. Посетители чувствуют себя так, будто они не в ресторане, будто в гости приехали. Встречает гостей... ну пусть поначалу метрдотель, указывает столик. А затем появляется хозяин. Элегантный, с гарденией в петлице, Вертинский обходит столики, любезно беседует с новоприбывшими. И Буби в черном платье, с подведенными глазами, с узлом светлых волос на затылке приветствует гостей, но без улыбки, ведь стиль Буби — загадочная строгость, таинственная печаль... Увы! Своими глазами я этого не видела, только слышала от знакомых. Мне не довелось побывать в «Гардении».

Была я в то время отвлечена не то личными делами, не то еще чем-то. Быть может, именно тогда в моей шанхайской жизни что-то менялось — не помню. Помню лишь, что в «Гардению» все собиралась и откладывала: сейчас не до того, некогда, успею, не уйдет. Но не успела — ушло. Кто мог думать, что звезда «Гардении», вспыхнувшая на ноч-

ном небе Шанхая, закатится так стремительно? Всего, кажется, месяц понадобился для того, чтобы этот прекрасный ночной клуб вылетел в трубу,— срок рекордный.

Рассказывали: Буби и Вертинский бесплатно угощали друзей шампанским. Этому поверить было легко. Я так и увидела Вертинского, небрежно бросающего через плечо официанту: «Счета не подавать, запишите на меня!» Левка, Гриша, Гига и их дамы, приятельницы Буби и их кавалеры, а также многие другие ехали в «Гардению» как в гости, к друзьям, и не ошибались — их принимали как дорогих гостей. Актерский темперамент владельцев «Гардении» заставил их так вжиться в роль гостеприимных хозяев, что они, думается, и незнакомых, разыгравшись, поили бесплатно.

Рассказывали также, что лица, заказывающие вино и провизию, щелкавшие на счетах и сидевшие за кассой,— все, как на подбор, оказались жуликами. И этому легко было поверить. Буби и Вертинский в качестве владельцев предприятия должны были как магнитом притягивать к себе именно жуликов.

Короче говоря, вскоре выяснилось, что траты огромны, а выручки нет, музыканты ушли, забрав свои инструменты, за ними последовали мексиканские танцоры, норвежские акробатки и жонглер. А Буби с Вертинским и друзьями в пустом помещении допивали еще оставшиеся в погребе бутылки и совещались: как быть? Жулики, объединившись с поставщиками вин, грозились передать дело в суд.

Дошло до суда или нет, не знаю. Думаю, что Буби, как лицо ответственное, уехала либо в Гонконг, либо в Манилу — именно туда скрывались те, кого преследовали кредиторы. Во всяком случае, после истории с «Гарденией» я больше никогда не встречала Буби. Вертинского же через какое-то время вновь увидела за столиком «Ренессанса»... Первая половина дня, в зале полутьма, моют полы, стулья кверху ножками на столах, ходят кошки. Вертинский, похожий на огромную нахохлившуюся птицу, лениво тыкает вилкой в яичницу и читает мне стихи парижского эмигрантского поэта Георгия Иванова: «Та́к что же делать? В Петербург вернуться? Влюбиться? Или Опера́ взорвать? Иль просто лечь в холодную кровать, закрыть глаза и больше не проснуться?..» Словом, все как прежде. Я никогда не расспрашивала Вертинского о том, что именно произошло в «Гардении». Я лишь думала, глядя на него: «Нет, не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам, браться за коммерческие дела...»

* *
*

А вскоре ввязалась в коммерческое дело и я.

Некая Алла Г. решила выпускать маленькую еженедельную газету рекламно-информационного типа. Такого рода бюллетень, пестрящий

объявлениями, издавал в Шанхае один американский журналист и, чтобы привлечь подписчиков, печатал в своей газетке анекдоты, юморески и другое развлекательное чтение. Его примеру думала последовать Алла — за этим-то я ей и понадобилась.

Коротко знакома с Аллой я не была, но то, что знала о ней, внушало уважение. В любую погоду она бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для нескольких газет и журналов сразу, а могла бы ничего не делать, дома сидеть — ее мать вторым браком была замужем за вполне состоятельным англичанином. Когда отчима перевели в Гонконг, Алла не пожелала следовать туда за ним и своей матерью. Уезжающие оставили ей какую-то сумму, чтобы она, как это водилось, смогла открыть «свое дело».

В те годы в Шанхае каждый мог издавать что ему вздумается, было бы на ч т о, а разрешение у полиций обеих концессий достать было легко... Существовало немало частных типографий, бравших столько-то долларов за печатание страницы и вдобавок предоставляющих в своем помещении комнатушку, где можно было править гранки, делать расклейку материала для верстки и даже принимать посетителей.

...Терзавшие меня в Харбине проклятые вопросы (как жить? что с собой делать?) в начале моей шанхайской жизни, несмотря на трудности и неустроенность, меня не мучали. Я знала, что мне делать, я нашла себя. То, что за свой труд я получала гроши и приходилось вечно искать добавочные заработки, казалось в порядке вещей. В Париже тех лет известные писатели, крупные журналисты, сделавшие себе имя еще в России, жили чуть не впроголодь, это не говоря уже о молодых, начинающих... Выматывала, раздражала вечная борьба с Тепляковым. Возвращали фельетон: «Не пойдет. Вы тут смеетесь над конферансье. А недавно на вечере конферировал известный фотограф...»

«Да я не о нем! Я — вообще!» «Может принять на свой счет, а он наш рекламодатель. Тепляков велел снять, все!» Уж раз «Женькин пес» велел снять, это и в самом деле все!

Смеяться не разрешалось ни над кем, ни над чем. Везде рекламодатели, которые могут обидеться. Если хотите издеваться, идите на советский фильм, ругайте его. А вот этого-то мне как раз и не хотелось.

Сильное впечатление, производимое на меня советскими фильмами, не зависело ни от режиссеров, ни от актеров, ни от содержания. Стоило мне услыхать русскую речь, увидеть русские пейзажи — я начинала плакать... К решительному шагу, к переходу в советский лагерь (в Шанхае существовал «Союз возвращенцев»), я готова еще не была... Попав в «Шанхайскую зарю», я очутилась в эпицентре эмигрантской грызни, взаимных обид, раздоров, поношений, подозрений — все это казалось мне мелким, жалким, ничтожным. Как часто в те годы приходили мне на память строчки Гумилева: «...И совсем не в мире мы, а где-то на

задворках мира, средь теней...» В одной из своих статей Владислав Ходасевич писал, что становится «неразговороспособен», ибо нет на свете более безнадежного и душу опустощающего ремесла, чем профессия эмигрантского литератора, брошенного в чужую стихию, где до него дела никому нет... Этих слов я не знала тогда, но, видимо, нечто подобное ощущала. Хотелось что-то менять, куда-то уйти. Куда — не знала.

Подвернулась Алла, и я радостно кинулась в несуществующую газетку, которая могла прогореть и лопнуть через месяц, совсем как «Гардения»! Вся коммерческая сторона на Алле, я же должна была заполнять своими писаниями свободное от объявлений место будущего рекламного издания. Мы решили: никакой политики! Задача: развлекать и увеселять читателя. Как именно — на мое усмотрение.

Была у меня в те годы приятельница Ирина С., русская, жена американца. В ранней молодости занималась журналистикой, писала стихи, бывала у моей матери — та любила покровительствовать юным дарованиям. Наша с Ириной разница в возрасте (четыре года) была тогда неодолима — семнадцатилетнему с тринадцатилетним общего языка не найти. Но вот мы встретились в Шанхае, друг другу обрадовались, подружились. Ирина была наполнена, насыщена, пропитана русской литературой. В ее чтении я впервые узнала поэму Андрея Белого «Первое свидание» и стихи Пастернака. Она же научила меня любить Чехова — до тех пор он был мне чужд. И, конечно, возникла у нас (так же как и с Вертинским!) игра в «откуда это?».

Трехкомнатная квартира, детей нет, хозяйственных забот тоже (бой и повар), обеспеченность полная, живи в свое удовольствие, живи, как все шанхайские иностранные дамы: утренняя прогулка с собакой, магазины, в час завтрак, затем загородный клуб. Там бридж, там мачжонг, туда после работы приезжает муж, легкая выпивка, затем домой обедать, после чего каждый сидит в своем кресле, муж отдыхает, читая журналы или детективы, жена тоже читает или вяжет — телевизоров ведь тогда еще не существовало...

Монотонность жизни нарушается коктейлями, зваными обедами, зваными (дамскими) чаями... Кроме того, при клубе и гольф, и теннисный корт, и бассейн. Чем не жизнь?

А Ирина изнывала от скуки и бросилась на меня, как голодный на хлеб. В иностранном обществе, ее окружавшем, друзей себе не находила, хотя, вероятно, были там люди вполне образованные. Не глупым человеком, все понимавшим в своем инженерном ремесле, был Иринин муж Томми.

Но вот с иностранцами ей было скучно, а со мной, в те годы существом весьма невежественным, со мной ей скучно не было. Почему же? А потому, полагаю, что «Зима, крестьянин, торжествуя...», «По небу полуночи ангел летел...», «Все врут календари...», «На холмах Грузии...» и многое, многое другое, не говоря уж об именах собственных (Но-

здрев, Онегин, Фома Опискин), никаких ассоциаций у иностранцев не вызывали, они росли, складывались в чем-то совсем ином, своем.

Ирина с восторгом приняла участие в «Шанхайском базаре» — помощь неоценимая: одаренный литератор отдавал нам свое перо бесплатно. Ирине не деньги, а занятие было необходимо. Отныне занята она была выше головы.

Мы печатали «Базар» в типографии, принадлежавшей китайцу. Старый дом в глубине двора восточной, «бедной» части авеню Жоффр, тут же помещалась какая-то харчевня, и красивая Ирина, шествовавшая в своих туалетах и шляпках по грязному и чадному двору, вызывала изумление окружающих... (Муж ее тоже поначалу изумлялся, все спрашивал, глядя на испачканные типографской краской руки Ирины: «Зачем тебе это нужно?» Потом пожал плечами: «Нет, все русские сумасшедшие!» Это объяснение, видимо, его успокоило.)

Писали мы каждая у себя (я взяла напрокат машинку), затем сходились в отведенной нам хозяином комнатушке — голые стены, два-три расшатанных стула. Правили гранки, верстали, придумывали заголовки для отделов, куда шли иронические заметки без подписи: «В этой маленькой корзинке...», «Букашки, мошки, таракашки...» У Ирины были псевдонимы: «Елизавет Воробей» и «Рени» — для фельетонов, «Ник. Зарубин» — для статей. У меня — «мисс Пэн», «Зинаида Булкина» и «Топси». Завели «Страницу женщины» — моды, косметика, прически, как обставить квартиру, как удержать любимого человека,— переводили туда статейки из американских дамских журналов. Вообще поначалу все было тихо, невинно — вполне безобидная рекламная газетка с развлекательным чтением на пристойно-культурном уровне. Но ни Иринин, ни мой темперамент не позволил нам удержаться в этих рамках. Мы начали подкусывать, подкалывать то эмигрантские балы с их крюшонами, кокошниками и лотереями, то концерты с любительскими сопрано и пошлыми шутками конферансье... Отменили «Страницу женщины» и вместо нее завели отдел «В литературном отчаянье», куда писали ехидные рецензии на рассказы и романы шанхайских литераторов и уличали в малограмотности репортеров...

Эмигрантская печать, сперва величаво и презрительно нашего издания не замечавшая, встрепенулась... Появилась статейка «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...» «Девицам» советовали «чесать языки келейно, а не в печати» — не их, дескать, женское дело... В другой газете нас окрестили «базарными торговками». Худшее было впереди.

Французская полиция, в «политическом отделе» которой служили несколько пожилых эмигрантов, под явным нажимом последних запретила нам выпуск очередного номера за «натравливание одной части населения на другую». Эмигрантская пресса радостно сообщила об этом своим читателям в таких выражениях: «... приостановлен выпуск полушантажного листка непечатного свойства...», «...нарушительницам основных норм журналистской этики запрещен выпуск очередного номера!» Зато

американская газета «Шанхай ивнинг пост энд Меркури» написала так: «Выход «Шанхайского базара», популярного русского еженедельника без политической ориентации, приостановлен французской полицией в наказание за критику выступления одной из газет, издающихся на русском языке».

Тут многое верно. К тому времени «Шанхайский базар», этакий веселый и злой журнальчик, в самом деле стал популярен: росло число подписчиков, расхватывалась розница, взмыленная Алла все чаще врывалась в типографию с радостным известием о новом объявлении... Одно неверно: на «третьем пути» сбалансировать нам не удалось, без политической ориентации мы не обошлись, лицо издания к моменту его закрытия вполне определилось.

Нападение Германии на СССР и реакция на это событие ряда эмигрантских организаций — вот что послужило толчком, изменившим лицо газеты. У меня не сохранилось статьи, за которую нас наказали, в памяти осталась лишь первая фраза, ну, скажем прямо, не слишком корректная: «Свиное рыло высунулось и хрюкнуло!» Таков был наш отклик на опубликование в эмигрантской печати совместного заявления нескольких организаций («Союз монархистов», «Союз инвалидов» и еще какие-то «союзы») об их готовности сражаться на стороне немцев за «освобождение России».

Нас лишили возможности выпустить один номер, и он не вышел, а следующий вышел. Потеря номера оказалась ничтожной платой за те выгоды, которые нам принесла необдуманная мера французской полиции. Злорадные крики эмигрантской печати и упоминание «Базара» в печати иностранной — лучшей рекламы и придумать было нельзя! Посыпались читательские письма, нашу позицию поддерживающие, и среди них письмо Вертинского... (С первого дня Отечественной войны шанхайские эмигранты разделились на «пораженцев» и «оборонцев» — последних было значительно больше.) И, наконец, мы приобрели трех прекрасных сотрудников, присоединившихся к нам из чистого энтузиазма: З. Казакова, Вс. Н. Иванов[1] и А. Вертинский.

Бывшая драматическая актриса Казакова (псевдоним «Алексей Лохмотьев») вполне квалифицированно и очень едко освещала театральную жизнь Шанхая. Вс. Н. Иванов писал статьи и фельетоны (псевдонимы «Н. Игнатьев» и «Княгиня Мягкая»). Вертинский вел «Почтовый ящик» («Нострдамус») и отделы «В своем углу» и «Про все» — их подписывал собственным именем.

---

[1] Иванов Всеволод Никанорович (1888—1971) — эмигрант, попавший в Харбин в начале двадцатых годов, затем переехавший в Шанхай. Прозаик. Поэт. Вернулся на Родину в 1945 году. Жил и умер в Хабаровске. Член Союза писателей СССР. Автор исторических романов, повестей для детей. В 50-е, 60-е и 70-е годы его произведения выходили в Хабаровском издательстве и издательстве «Советский писатель» в Москве.

Это была уже иная газета, ничем не напоминавшая тот непритязательный, задуманный Аллой рекламный бюллетень. Мы выходили теперь с постоянным эпиграфом из Некрасова: «Шить на мертвых нетрудное дело, нам желательно шить на живых!» Мы занимали ярко выраженную оборонческую позицию и уже не только развлекали читателя, но и призывали его кое над чем задуматься...

Мастер застольных бесед, шуток, анекдотов, импровизаций — их-то Вертинский у нас и публиковал. В напечатанном виде, лишенные интонации, игры лица, жестов эти рассказики много теряли, но вполне годились как приятно-развлекательное чтение. В «Почтовом ящике», который мы по примеру «Сатирикона» стремились давать в каждый номер, Вертинский юмористически отвечал на им же самим придуманные читательские письма. Вот примеры.

«Поэту Эн. Эн., бывшему члену Офицерского собрания. Вы жалуетесь на тупость и отсталость людей, в которых верили. «Я порвал с ними!» восклицаете Вы. Правильно сделали. В стихах своих Вы выразили Ваши чувства очень ясно: «И, принимая во внимание их убеждения кретинов, я гордо вышел из собрания по уважительным причинам!» Давно бы так! А стишок Ваш — премилый!» «Полине В. Вы пишете, что Ваша кошка вечно убегает в марте. Как быть?» Отвечаем: снимите со стены календарь. Или повесьте китайский. У них весна позднее. «Обывателю: «В Шанхае так много нищих!» — восклицаете Вы. — Они голодают. Это несправедливо. Почему никто не обратит внимания?» Отвечаем: обратили. Теперь будет справедливо: голодать будут все!»

А вот мелочи из отделов «Про все» и «В своем углу».

«Недавно был приглашен ужинать в один дом. Окинув стол строгим и грустным взглядом, хозяйка сказала: «Вот почти ничего нет, а сто рублей как корова языком слизнула!» Муж смутился и, чтобы поправить бестактность жены, сказал: «Ну что ты, Маня! При чем тут сто рублей! Когда у нас бывают НАСТОЯЩИЕ гости, так другой раз и двести тратишь!» «...На крыше «Ренессанса» раньше жило около 60 бродячих котов. Их ежедневно кормили остатками обедов и ужинов. Теперь их осталось не больше десяти. Говорят, они недовольны питанием и переселились на крышу кафе «Диди». Но рыжий кот, которого я назвал Клафирдон Степаныч Зандрыгулов, «Ренессансу» не изменил. Он с нами по-прежнему!»

Но не только веселые пустяки писал нам Вертинский. Вот отрывки из его очерка «Черная лихорадка», где отражен быт Шанхая тех лет. Число нищих росло угрожающе. Население города пополнилось беженцами от Гитлера: немецкими и польскими евреями. На одной из улиц сеттлмента — Сычуан-роуд — стихийно возникла биржа: там покупали, продавали, перепродавали...

«Кого здесь только нет! — пишет Вертинский. — Музыканты, приказчики из бакалеек, бармены из Циндао, содержатели притонов, героинисты, чуть подлеченные вынужденным сидением в тюрьме, хозяева пив-

ных, скупщики краденого, просто молодые люди, попробовавшие первых «легких» денег и уже отсидевшие сроки наказания за проданную липу... Русские эмигранты, немецкие и польские евреи, португальцы, китайцы, мексиканцы... «Мылом интересуетесь?» «Нет». «А виски?» «Не надо». «Есть бюстгальтеры!» «Спасибо, мне ничего не надо! Видите ли: я не коммерсант...» «А вы думаете: я коммерсант? Я ж парикмахер. Я вас брил в субботу!» «Ах, да. Помню! Вас зовут Моня». «Вот, вот! Так что вас интересует?» «Быт!» «Быт? А что это? Впрочем, можно достать. Сколько вам надо?» «Сто ящиков». «Подождите меня здесь. Я приведу одного человека. У него есть! Мои 15%, о' кей?» ...А это кто? Знакомые девочки из баров. «Привет, Тамара. Вы зачем здесь?» «Мне вчера один фраер сказал: приходи на биржу, если у меня пройдет одно дело, я тебе полкосых дам!» «А вы, Люся?» «А я одному типу морду набить пришла. Взял мой браслет продать, и ни его, ни браслета!»

Кончается очерк так:

«...На углу, в грязном подъезде серого высокого дома ничком в сырой нише лежит прокаженный. Он раздирает на себе страшные лиловые струпья. Его трясет. У него черная лихорадка. Люди равнодушно идут мимо. А он корчится, воет, грозит им вслед. И кричит. И кричит без конца.

Это — голос Китая».

Растущей популярности «Шанхайского базара» очень помогало сотрудничество Вертинского, его громкое имя. Сегодня я спрашиваю себя: почему у этого, тогда уже немолодого человека, выступавшего в те годы в двух кабаре, занятого ночи напролет, почему было у него желание тратить остатки своего времени на нашу маленькую газету? Прежде этого вопроса я себе не задавала. Я сильно преувеличивала роль нашего издания. Вот мы твердо стоим на оборонческой позиции, вот мы смело сражаемся против пошлости эмигрантской прессы — значит, на нашей стороне все совестливые люди, помощь Вертинского казалась мне совершенно естественной! А сегодня я думаю: почему? Как многие талантливые натуры, Вертинский был бескорыстен и щедр. И любил игры. Выступать в новой для него роли журналиста, делиться с другими своей наблюдательностью, своими выдумками и шутками, видимо, забавляло его...

Бывало, наш именитый автор подводил нас: материал пора сдавать в набор, а «Почтового ящика» нет! Я бросалась искать Вертинского, а где найдешь его утром? Только в «Ренессансе». Но уж если там его нет, задерживай номер, жди допоздна, лови своего автора там, где он ночью поет, и кидайся на него с упреками, мольбами... «Дорогая, клянусь — забыл! Пусть номер выйдет без меня, мир не обрушится». — «Обрушится! — кричала я, нажимая на педаль лести, безотказно действующую на Вертинского. — Вы же знаете, как читатель вас любит, вас ждет! Ну, Александр Николаевич!»

Однажды он написал «Почтовый ящик» в перерывах между своими выступлениями карандашом на нескольких бумажных салфетках — дело происходило в маленьком кабачке «Шехеразада» (джаз, полутьма, танцующие пары, бродящий луч лилово-синего прожектора), а потом с этими салфетками в сумке я шла домой пустынными ночными улицами... Забавно было бы эти салфетки сохранить, но я ведь вечно все выбрасывала! Если б не мать, у меня и «Шанхайского базара» сейчас бы не было, любопытной газетки, моего детища, переходного этапа жизни моей. Сбереженные матерью пожелтевшие номера этой газеты (уже последнего периода ее существования) я отдала переплести, иногда их перелистываю, там на каждой странице пестро мелькают объявления: «Лосьон Телл-ми» для очищения нежной кожи...», «Где хорошо кормят? Где приятно потанцевать? Ну конечно, в «Аркадии»!», «Косметика помогает, гигиена завершает: антисептическое средство «Гоменол солюбл»...», «Марлен Дитрих, Франческа Гааль, Ольга Чехова одевались в салоне дамских нарядов «Олд Бонд стрит»...» И многочисленные псевдонимы малочисленных сотрудников там мелькают, и прошлое проходит предо мной... Я вновь вижу чадный двор у харчевни, комнатушку при типографии, и гранки на столе, и то, как мы с Ириной их правим, а затем, расположив на чистом листе, клеим и с помощью метранпажа выбираем шрифты, и врывается сияющая Алла — ей удалось достать объявление у самой «Шанхай пауэр компани» (Холодильники, электроплитки, утюги), его необходимо поставить на первую страницу, да, и только на первую, но мы ее уже сверстали, к черту вашу верстку, ведь всемирно известная фирма, дали пока на пробу, обещают подписать контракт на три месяца, это же деньги, вы что, шутите?

И без коммерции нам не удалось обойтись!

Я перелистываю подшивку, и прошлое проходит предо мной, и я снова вижу полутемный утренний зал «Ренессанса», моют пол, ходят кошки, Вертинский за столиком в углу хмуро пишет свои веселые мелочи для отдела «Про все», а я терпеливо жду.

* *
*

Давно рухнул барьер, отделявший меня, харбинскую девчонку, от заезжей знаменитости, прославленного «шансонье», всемирно известного певца, на которого я глазела из амфитеатра белого зала Железнодорожного собрания. Шанхайский Вертинский стал частью местного пейзажа, вписался в наше эмигрантское захолустье, ходил по этим же «авеню» и «рю», пел ежевечерне. К тому же мы подружились.

Его знаменитую песню «О нас и о родине» я слышала, видимо, году в сороковом, на концерте в зале «Лайсеума» (зал стоит дорого, концерты Вертинского в Шанхае редки чрезвычайно!). Начался шум. С одной стороны свист, улюлюканье, выкрики: «Большевикам продался!», а с дру-

гой — бешеные аплодисменты, крики: «Браво!», «Правильно!» и даже «Ура!». Улюлюкали в основном люди пожилые, стойкие в своем неприятии Советской России, а молодежь одобряла, молодежь приветствовала, и под ее охраной Вертинский шел в ту ночь домой...

Наша «оборонческая позиция», участие Вертинского в газете «Шанхайский базар» сблизили нас еще больше. Виделись постоянно, понимали друг друга с полуслова, и я забывала о разнице лет, о его славе, и не было больше ореола, когда-то в моих глазах его окружавшего. Слушать его песни одно удовольствие, особенно в ресторанной обстановке, для которой, казалось, и создано его искусство. Дешевый электрический рай, куда люди идут, чтобы забыться. И правильно. Иной раз забыться необходимо.

На улице дождь, трамваи уже не ходят (на чем, интересно, я домой поеду?), а, черт с ним, как-нибудь доберусь, не думать, забыть обо всем, он поет, и улетим с ним в бананово-лимонные Сингапуры или к синему и далекому океану. Вообразим себя той, которую «баюкает в легкой качели голубая «испано-сюиза». Убаюкаемся. Слушаешь и веришь, что «радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели». Выпивка. Наркотик. Гипноз.

А потом случилось так...

Я была в гостях у Ирины, званый ужин, по-тамошнему обед. Кроме меня, инженер Джимс Казинс с женой Маргарет и юрист Питер Дайс — друзья Ирининого мужа Томми. Я была уже с ними знакома, Ирина не раз таскала меня с собою в американский загородный клуб. Выхоленные, хорошо одетые, благополучнейшие люди. Хотелось бы добавить — беззаботные, но это не так. Время тревожное — война. Америка пока нейтральна, но именно «пока». К тому же Шанхай под властью японцев, они ставят палки в колеса иностранным фирмам, работать чертовски трудно, скорей бы домой! Привольной жизни иностранцев в полуколониальном Шанхае наступал конец... А жизнь их тут была в самом деле привольна, большие квартиры (у некоторых дома и сады), обилие дешевой прислуги, клубы, гольфы, теннисы, бассейны, верховая езда, повышенная зарплата — ведь оторваны от дома, ведь на краю света, за это надо платить... И Томми, и друзья его были людьми симпатичными, доброжелательными, мне нравилось бывать в их обществе, будто попадаешь на иную планету, живешь другой жизнью, от своей отключившись...

Отобедав, решили ехать в какой-нибудь ночной клуб. Выяснилось, что никто из присутствующих не слышал Вертинского. Он пел в то время в эмигрантском кабаре «Аркадия» на рю Думер. Самое просторное помещение из всех, где он в Шанхае выступал.

Овальная площадка для танцев как бы обрамлена столиками, стоящими на возвышении, джаз — на эстраде, артисты выступают там же.

Приехав, заняли два столика, их нам сдвинули официанты, почтительные и даже торжественные, нюхом, издали угадавшие приближе-

ние американцев с их твердой, с их прекрасной валютой. «Ну, где же ваш певец джаза?» — спросил Питер Дайс. Ирина сказала, что Вертинский не певец джаза. «Но он «крунер»! — заявила Маргарет.— Моя подруга его слушала и сказала: типичный русский «крунер»!» И хотя «крунерами» американцы называют тех, кто полуговорит, полупоет, чья сила не в голосе, а в интонации, ну то же, что французские «шансонье», «дизёр»,— а русского-то слова нет для этого! — однако и Ирину, и меня это слово обидело. «Крунеров» полно, а Вертинский один-единственный, особенный, ни на кого не похожий... Нас перебил Томми: «А, перестаньте! (Друзьям с усмешкой.) Я только и слышу от этих двух, что у русских все особенное, все самое лучшее, и литература, и музыка, и я уж забыл, что еще...» Подвыпивший Питер фальшиво пропел: «Оччи чьорнии!» Добрая Маргарет с утешительной интонацией сообщила, что и в самом деле такую песню, как «Очи черные», завоевавшую мир, сочинили русские! Погас свет. На эстраде в луче прожектора возник Вертинский. «Прекрасно сложен и как элегантен!» — воскликнула Маргарет. Она явно продолжала свою утешительную работу... «Прощальный ужин!» — объявил Вертинский своим капризным тоном. Звуки рояля...

«Сегодня томная луна, как пленная царевна...» «Крунер»! Ваши «крунеры» только и умеют, что подвывать и завывать... Это придумать надо: назвать Вертинского «крунером»! «Сегодня музыка больна, едва звучит напевно, она капризна и нежна, и холодна, и гневна...» Как вкрадчиво, ласково и немного насмешливо он это произнес... Он поднимает свой бокал за неизбежность смены: покорность судьбе, но тоже чуть насмешливая... Он не завидует тому, кто ее ждет (пауза)... тоскуя, а все же то ли ревность, то ли неприязнь к тому, кто там дожидается, проскальзывает... Нет, не завидует, потому что знает: он совсем не тот, кто ей для счастья нужен, он бродяга, перекати-поле, к устойчивости домашнего очага неспособен, а тот, кто ее ждет, «он иной»! Это не пение, это резко скандированный речитатив, и в нем вновь неприязнь, насмешка... «Но пусть он ждет (гневно и торжествующе), пока мы кончим ужин!» — лукаво, даже слегка издевательски, с чувством превосходства над этим униженно там ожидающим. «Я знаю, даже кораблям необходима пристань...»

«О чем это он?» — спросил Томми. Ирина стала поспешно рассказывать — о чем. «Кто кого бросил — он ее или она его?» — поинтересовалась Маргарет. Питер отхлебнул из стакана и заявил: «Держу пари, это не шотландское виски. Это подделка!»

Вальс «Над розовым морем». Ничего вроде бы не делает, лишь плечами поводит, а почему-то видишь, как томно кружатся влюбленные пары и как все прекрасно и очаровательно: луна, море, вино, гитара... Вдруг тревога. «Послушай, о как это было давно...» Тревога нарастает: «Послушай, мне кажется даже...» — и горло перехватывает, и нет слов, только музыка... И вот будто другой совсем голос, трезвый, горький, знающий, что все прошло, жизнь растрачена впустую, надеяться не на что

да и тревожиться, собственно, уж не о чем... «И слишком устали, и слишком мы стары и для этого вальса, и для этой гитары...»

«Какой актер! — сказала Корнакова пять лет тому назад.— Руки гениальные. Каждая песня — маленькая пьеса, чувствуете?» Это она с ее актерским чутьем чувствовала, а я — нет. Кокетливая поза, салонность, явная безвкусица некоторых песен заслоняли от меня то крупное, то истинное, что есть в нем, внезапно в каком-то повороте открывающееся... Это настоящее вдруг прорвется в тоне, в интонации, во взгляде, в жесте — резким, быстрым движением руки он умеет сыграть и гнев, и презрение, и надменность, и грусть, и лукавство... Актер. Виртуозный актер театральных этюдов — вот что отличает его от всех «крунеров» мира, от всех шансонье — как же я раньше не понимала этого? В самом деле, его песенки — пьески с сюжетом, и в каждой несколько ролей... Сквозь шелуху банальности, салонности — искренность, горечь, трогающая слушателя не «убаюкивающе», а на уровне серьезного искусства,— как я раньше не видела этого?

Казинсы сказали, что им понравилось. Обидно не понимать слов, но и так можно почувствовать, что Вертинский первоклассный «крунер». «Спасибо, что вы нас сюда вытащили!» Джим и Маргарет Казинс были людьми милыми, воспитанными и к нам с Ириной дружески расположенными...

После того как Вертинский выступил вторично, пропев «Чужие города», поднялась такая буря аплодисментов и даже выкрики, что Томми, когда все это поутихло, сказал друзьям: «Ну, что я вам говорил? Русские — сумасшедшие!» Вертинского, однако, не ругал. Нам даже казалось, что Вертинский ему понравился. Признаться в этом вслух Томми не хотел. Опасался, что мы с Ириной возгордимся, задерем нос и это ослабит его позиции, он ведь вечно над нами посмеивался, вечно упрекал в пристрастии ко всему русскому... Что думал по поводу Вертинского Питер, осталось неясным. Он хоть и утверждал, что это не шотландское виски, а подделка, однако подделкой этой не слишком брезговал...

Мы вышли на ночную улицу. Толкаясь колясками, что-то выкрикивая, к нам кинулись рикши и педикабщики — чужой город шумел вокруг нас. Казинсы сели в свой автомобиль, я — к Томми с Ириной, туда же взгромоздили Питера, двинулись, над нами светила чужая звезда, а когда мы ехали вдоль набережной, вблизи которой жил Питер, было хорошо слышно, как плещется чужая вода.

* *
*

Искусство Вертинского не было международным: не Рахманинов, не Менухин, не Шаляпин, не Яша Хейфец и не Анна Павлова. Правда, из мемуаров, опубликованных посмертно[1], узнаем, что в Париже Вер-

[1] Журнал «Москва», 1962 г.

тинского слушали такие «персоны, как король Густав Шведский, Альфонс Испанский, принц Уэльский, Вандербильты, Ротшильды», а также знаменитые киноактеры. Из Парижа Вертинский едет в Нью-Йорк, Сан-Франциско, Голливуд. Там он удостоился приглашения в «Голливуд морнинг брекфаст клаб», членами которого были киномагнаты и куда развлекать их во время утреннего кофе приглашались только мировые знаменитости...

Среди иностранцев, русского языка не знавших, встречались, несомненно, натуры артистические, ощущавшие талант Вертинского, уникальность созданного им жанра. Но я убеждена в том, что большинство иностранцев стремилось услыхать Вертинского (этого «сказителя», как называл его Шаляпин) единственно из любопытства. А это чувство насыщается быстро — послушал раз, другой, и довольно. Дело тут не только в барьере языка. То, о ч е м пел Вертинский, было чуждо иностранному слушателю, отклика в душе его не находило. Это особенно касается родившихся в эмиграции песен, лучших в репертуаре Вертинского, песен, в которых говорится о тоске по России, покинутой и недоступной.

Об этой «дикой жалости к оставленной земле» Вертинский с эстрады умел поведать так, что на слушателей веяло холодком истинного искусства... А вот на бумаге, в мемуарах, рассказать об этом не сумел.

Песенные тексты играли у него роль чисто служебную. Слова нужны были лишь как повод, дающий этому актеру возможность показать свою главную силу, умение легко переходить от одного настроения к другому, от кокетливой позы к естественности, от манерности к искренности, превращаться из капризного эгоиста в глубоко страдающего человека. Вертинский на эстраде — как музыка в его «Прощальном ужине»: она «капризна и нежна, и холодна, и гневна».

Но вот он взялся за перо и остался наедине со словом, не прикрашенным ни музыкой, ни интонацией, ни жестом. Со словом в его чистом виде. Дело одинокое, дело непривычное, и с ним Вертинский не справился, оказался беспомощен. Написанное им поверхностно, мелко, и обидно, обидно за автора! Он был куда сложнее, куда привлекательнее, чем легковесная фигура, вышедшая из-под его неумелого пера... «В 1935 году я решил уехать в Китай». Это почти что заключительная строка мемуаров. О жизни в Шанхае — ни звука. Но почему же именно в Китай?

Покинувшие отечество пианисты, скрипачи и балерины без русской аудитории существовать могли в том грубом смысле, что не она кормила их. Морально тяжело, но материально жить можно. Вертинский же без русского слушателя обойтись не мог ни в каком смысле, ибо искусство его только русским и было нужно.

Так почему же все-таки в Китай?

Эмигранты второго поколения, попавшие за границу малыми детьми, живя в Америке или во Франции, ходили в тамошние школы, родной язык забывали, от русских корней отрывались — не все, но многие.

Этот процесс был особенно характерен для молодых русских, выросших в США. В Китае подобного слияния с местным населением произойти, конечно, не могло. Кроме того, эмигрантская молодежь Шанхая тридцатых и сороковых годов в большинстве своем выросла в Харбине, оставалась русской и по языку, и по устремлениями. Не эта ли надежда найти более молодую и обширную аудиторию плюс отчаяние и толкнули Вертинского ехать в Шанхай?

Он прекрасно знал, где его настоящая аудитория, стремился к ней и из Франции, и из Америки, но, как сообщает в своих мемуарах, дважды получал отказ на просьбы о визе. И вот очутился в Шанхае.

И я вспоминаю сейчас, как он в свои мрачные утренние часы в пустом полутемном зале «Ренессанса» читал мне стихи Ходасевича: «Нет, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Виргилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла».

* *
*

Православный собор на узкой улочке Поль-Анри полон народу... На этот раз тут меньше, чем обычно, темных платков богомольных старушек и седых обнаженных голов бывших бойцов белых армий... Мексиканские и испанские танцоры, норвежские акробатки, музыканты, цыгане, жонглеры, молодые люди неясных профессий — словом, все Вертинского обожающие бродяги и артисты явились сегодня сюда... И чуть не в полном составе, «инкорпоре», присутствуют Вертинским воспетые дансинг-герлс и бар-герлс. Их сегодня узнать трудно, так скромно они одеты, такое растроганно-торжественное выражение на их почти лишенных косметики лицах.

Нет, не только кораблям необходима пристань. Понадобилась она и Вертинскому, на склоне лет серьезно полюбившему молодую девушку, не принадлежавшую к легкомысленному братству актеров и бродяг. Была она тогда скромной служащей иностранной конторы.

Появляется жених с веточкой флёрдоранжа в петлице — одобрительный шелест в толпе: элегантен, прекрасно держится. Наверху, под куполом, звучат голоса хора, приветствующие появление невесты («Гряди, гряди, голубице!»), и снова шелест, теперь восхищенный, — хороша собой невеста. Шелест возобновляется, когда венчающиеся идут к атласному коврику: кто первый ступит? (Примета: ступивший первым будет главенствовать в семье.) Торжественный момент: красавцы шаферы Левка и Гига поднимают венцы над головой Вертинского и тем воздушно-белым, что украшает головку невесты. И вот молодые (а шаферы с венцами следом) идут вокруг аналоя, и я с трудом узнаю Левку и Ги-

гу — так суровы, горды, исполненны сознанием своей ответственности их обычно легкомысленно-веселые физиономии. На улице день, а мог быть и вечер, дневной свет едва проникает сквозь цветные стекла окон, к тому же церковь ярко освещена сотнями колеблющихся огоньков свечей... Тепло, душно от человеческого дыхания, от запахов воска, ладана, кадильного курения, и рядом с собою я слышу всхлипывание — молодая женщина в темном шелковом платочке на голове. Кажется, кто-то из «дансинг-герлс»... «Вы в гимназии, церковь, суббота, хор так ласково, нежно поет...» Она сама мечтала о таком дне, чтобы фата и белое платье, и рядом Он, и благословляющая рука священника, и атласный коврик, и венцы, и ничего этого нет и не будет.

Свадебный прием был устроен в «Шехеразаде», там в то время пел Вертинский. Разносились коктейли и сандвичи, хлопали пробки шампанского, цыгане пели заздравную, и народу столько, что к молодым не проберешься.

* *
*

В 1943 году Вертинский уехал в СССР с женой, недавно родившейся дочкой и тещей. Вскоре до нас, оставшихся в Шанхае, стали доходить вести об успехах Вертинского, о переполненных на его концертах залах.

В то время я работала в газете «Новая жизнь». Она возникла на базе маленькой, раз в десять дней выходившей газеты «Родина», издававшейся на средства «Союза возвращенцев»; подобные «Союзы возвращения на Родину» стали возникать в местах эмигрантских расселений после опубликования Конституции 1936 года... С первых же дней Отечественной войны «Родина» превратилась в ежедневную газету «Новая жизнь», содержавшуюся на средства советской общественности Шанхая.

Эта «общественность» состояла в основном из бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. После оккупации Маньчжурии японцами и продажи КВЖД часть служащих в 1935 году уехала в СССР. Другие же, получив деньги за выслугу лет, переселились в Шанхай. Кто-то стал совладельцем магазина, кто-то компаньоном фирмы, а кто и собственное дело начал... Они свято хранили советские паспорта, дорожили ими... Предприятия этих лиц находились под защитой иностранного (в данном случае — советского) флага, а они, в свою очередь, на свои средства содержали «Клуб граждан СССР», а с первых дней войны начали субсидировать ежедневную газету.

К концу тысяча девятьсот сорок первого года мой еженедельник «Шанхайский базар», не находившийся ни под чьей защитой и всячески преследуемый полицией, перестал существовать, и с этого момента я начала работать в «Новой жизни».

Однажды в телеграмме ТАСС я прочитала о Вертинском... Цитировалась только что им написанная песня, из которой до сегодня уцелела в памяти одна строфа: «О родина моя! В своей простой шинели, в пудовых сапогах, детей своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не верящий в тебя!»

Приехав в СССР с репатриацией, я стала жить в Казани, работала там стенографисткой. В апреле 1948 года взяла десятидневный отпуск и в Москве остановилась у дяди, родного брата матери, Ивана Дмитриевича Воейкова. От него я узнала о существовании Литературного института имени Горького, и с того момента все помыслы мои были направлены к одному — стать студенткой этого института. Я там побывала, узнала, что нужно для поступления, затем прислала из Казани требуемые документы и сборник, изданный в Шанхае, куда вошли мои лучшие фельетоны, опубликованные в «Новой жизни». В последних числах июля я вновь появилась в Москве. Мне казалось (и справедливо!), что от того, признала или нет приемная комиссия мои произведения достойными и допустила ли меня к экзаменам, зависит вся моя дальнейшая судьба.

Уже знакомая решетка сада на Тверском бульваре, дома не видно за буйной зрелой зеленью дубов и лип, на лестнице следы известки, в коридоре брошенная стремянка (ступеньки истоптаны белым), двери в пустые аудитории настежь, безлюдье, лето, лето... Перед дверью в канцелярию я суеверно перекрестилась («Господи, помоги!»), готовила себя к худшему, худшего не произошло, пока пути не отрезаны, лишь в августе станет известно, допустили меня к экзаменам или нет. Дни отсрочки я собиралась провести в Ленинской библиотеке, продолжать готовиться к экзаменам, но мне сказали: «Хорошо бы вам заручиться поддержкой писателя, писателя с именем! Чтобы он поддержал ваше заявление о приеме, рекомендовал бы вас!»

По коридору, пахнущему ремонтом, по асфальтовой дорожке сада, пестрой от солнца и тени листвы, я шла походкой человека, не знающего, куда он идет... Минуту назад все было ясно: мчусь в Ленинскую библиотеку, ныряю в книги. Отпало. Зачем туда нырять, если без рекомендации писателя с именем к экзаменам вряд ли допустят? Двигаться следовало в ином, неизвестном направлении, ибо кто он, этот писатель с именем, где его искать?

Середина дня. Жарко. На тротуарах полно по-летнему одетых людей, все бегут куда-то. Из распахнутых дверей шашлычной дохнуло запахами еды и пива. Внезапно я очутилась в центре куда-то энергично устремившейся группы людей, оказалась у всех на дороге, вырвалась оттуда, бормоча извинения. Это была очередь, ждущая троллейбуса, а он как раз подошел, встал, отдуваясь... Мне захотелось посидеть на бульваре, у памятника Пушкину, стоявшего тогда еще на Тверском бульваре,

собраться с мыслями, покурить, но все скамейки заняты. Я пересекла бульвар, очутилась на улице Горького, зачем-то на другую ее сторону перешла, тупо постояла у витрины магазина ВТО, не видя, что там выставлено, снова двинулась...

Это судьба моя вмешалась и вела меня. Заставила задержаться у Дома ВТО, точно рассчитав время, оторвала от бессмысленного созерцания витрины, повернула, толкнула вперед, кинула в новый водоворотец (толпа, выходящая из Елисеевского магазина) и ткнула лбом в плечо какого-то высокого мужчины. Проделав все это, судьба отошла в сторонку и за дальнейшим ходом событий наблюдала уже издали.

Дальнейший ход был таков. Столкнутые друг с другом мужчина и я одновременно извинились, отпрянули, после чего тоже одновременно воскликнули: «Боже мой!» Он к этому добавил: «И вы здесь! Когда приехали?» В руке его пакетик — что-то съестное в пергаментной бумаге. «Можете себе представить,— сказал он,— тут нет вестфальской ветчины! Мало того! О ней тут даже не слыхивали!»

Все тот же, барственная осанка, грассирует, и вестфальской ветчины ему не хватает, гурману!

Тревожно: «Как вы находите, я очень постарел?» «Что вы! Ни капли!» Успокоился, переложил пакетик в левую руку, взял меня под локоть. «А вы? Где вы? Как вы?» Не просто вежливость. Истинное желание узнать, вникнуть, помочь, если потребуется...

Богат и славен — об этом я знала еще в Шанхае. А в Казани мне говорили, что некоторые репатрианты, попав в Москву, первым делом кидаются разыскивать Вертинского, надоедают ему просьбами. Именно поэтому видеть его я не собиралась — слишком неравны наши положения. И вдруг эта неожиданная встреча на улице, и я вижу, он рад мне, и я польщена, и мне приятно...

«Не торопитесь? Тогда зайдем ко мне, это два шага — вот дом! «Москва. Улица Горького», звучит шикарно! Адрес это, знаете ли, не последнее дело». На лестнице: «Недавно купил по случаю наполеоновский стол... А квартира — великолепная! Ну, да сейчас сами увидите!»

Мы поднимались на лифте, и весело мне было глядеть на знакомое лицо, на высоченный, с залысинами лоб, глубоко посаженные глаза, горбатый нос, морщины, сбегавшие от углов тонкого рта (ах, постарел, все-таки постарел!), и на большие, длиннопалые руки. Как я была благодарна судьбе, столкнувшей меня в этот жаркий день, в этом еще чужом мне городе, чужими людьми наполненном, с другом моих шанхайских лет, добрым, великодушным, наивно-хвастливым, по-женски тщеславным, по-детски способным приходить в восторг от чепухи и впадать в мрак тоже от чепухи. Актер. Богема. И пусть сейчас богат, а все равно — бессребреник!

Семья на даче, квартира пуста. Мне был продемонстрирован просторный кабинет (диван, кресла, рояль, великолепный, светлого дерева, письменный стол — неужели в самом деле стол наполеоновский?),

спальня, затем детская (две маленькие кроватки и одна большая, бабушкина), столовая, кухня, ванная. В Казани я снимала угол, мой московский дядюшка жил в коммунальной квартире старого арбатского особняка, где ванная комната была превращена жильцами в чулан... За полгода жизни в СССР я еще не видывала четырехкомнатных квартир, одной семье принадлежащих, и такой мебели не видывала, и я поражена, громко всем восхищаюсь, а хозяин радуется моему восхищению, как дитя.

Утром следующего дня я вновь явилась в этот дом, чтобы вместе с Вертинским ехать к нему на дачу. То было мое первое знакомство с московской электричкой и Подмосковьем: дачный поселок Валентиновка...

Перед домом с верандой зеленая лужайка. По ней бегут две маленькие девочки, устремившиеся навстречу отцу. Он наклоняется, подхватывает на руки одну, потом вторую и так, держа их в объятиях, идет к крыльцу, а мне над его широкими плечами видны два повернутых к нему личика, два ангельских профиля, какие хорошенькие девочки (старшую я видела грудной, младшую вижу впервые), а я иду за ними, подобрав брошенную на траву авоську с продуктами, и слышу детский щебет и нежное мурлыканье отца. На крыльце молодая мать, рядом бабушка (далеко еще не старая бабушка), малюток опускают на землю, обнимают жену, целуют руку теще. Зеленые кроны деревьев на фоне безоблачного неба, и какие-то деревенские звуки, чириканье птиц, отдаленное собачье тявканье. Пасторальная симфония. Вертинский в роли дачного мужа (передаю бабушке авоську с продуктами), в роли нежного отца — девчонки от него ни на шаг, так и лепятся, одна ухватилась за край пиджака, другая вцепилась в штанину. Сперва сидим на лужайке в плетеных креслах, затем зовут на веранду. На полу солнечные блики, на столе белая скатерть, тарелки с разной снедью, ну, и запотелый графинчик. Чокаемся. Как чокались сотни раз в «Ренессансе», в «Шехеразаде», в «Роз-Мари», где еще? Надышано, накурено, джазы, саксофоны, лиловые лучи прожекторов, разрезающие тьму, танцоры, жонглеры, «дансинг-герлс», «бар-герлс» — «ай-ай-ай, куколки, где вы теперь?»

Сквозь мелкие квадратные стекла веранды — зеленая лужайка, белые стволы берез, за столом детское воркование, добрый голос бабушки («Грибков, грибков еще возьмите!») и где-то птицы поют. Сельская идиллия.

На следующий день Вертинский давал концерт в зале ВТО. Я сижу рядом с женой Вертинского, и она называет мне имена лиц, заполняющих зал... Это громкие имена знаменитых актеров, певцов, поэтов, и если какое-нибудь имя я слышу впервые, то все равно знаю: тот, кому оно принадлежит, тоже знаменит, ибо чуть не у каждого мужчины и у многих женщин значки лауреатов. Одна лишь я, по-видимому, не знаменита в этом зале, чем и выделяюсь среди присутствующих.

И когда на освещенной эстраде появилась знакомая фигура во фраке, послышался рояль, голос, мне вспомнился Харбин, белый зал Железнодорожного собрания, где я впервые увидела Вертинского, и показалось, что с тех пор прошла вечность,— а всего лишь тринадцать лет! И еще мне увиделась ночная авеню Жоффр, осень, согбенная спина в коляске педикаба: это Вертинский из «Шехеразады» едет в кабаре «Роз-Мари».

После концерта мы ужинали в ресторане ВТО вместе со знаменитым Утесовым, его женой и дочерью, к нашему столику беспрестанно подходили еще разные знаменитости как мужского, так и женского пола, было много хорошо одетых дам, пахло духами, и мне казалось, что я попала на Олимп, нахожусь среди небожителей.

Вот когда я догадалась, что проникнуть к «писателю с именем» мне поможет именно Вертинский. Он и помог. Очень охотно. Тут же, не успела я договорить, написал письмо своим хорошо мне знакомым крупным и острым почерком... С этим письмом я явилась к писателю[1], мне было велено оставить свою книжку фельетонов и вновь прийти через неделю. Книжка была прочитана, одобрена, писатель счел возможным рекомендовать меня в Литературный институт. Я была допущена к экзаменам.

Переехав в Москву, я стала бывать у Вертинского. Бывала вместе с другими гостями, бывала и одна.

Вечером телефонный звонок. Вертинский требует, чтобы я явилась к нему немедленно, безотлагательно. Когда такое приказание было дано в первый раз, я мчалась на улицу Горького, себя не помня, думала, что-то случилось, зачем-то нужна моя помощь... Позже требование срочно явиться меня уже не пугало. Знала: ничего не случилось. Просто у него пустой вечер. Ему скучно.

В квартире тишина, девочки спят, бабушки не видно, жена, поприветствовав меня, вновь удаляется в спальню (читает там полулежа), хозяин дома в прекрасном шелковом халате со стегаными отворотами мрачно сидит в углу полутемного, одной лампой освещенного кабинета. На столике два бокала, початая бутылка шампанского (его Вертинский предпочитал всем винам). И начиналось: «А помните?.. А помните?..» С кем еще в Москве мог он вспоминать вслух «Шехеразаду», «Ренессанс», хозяина-армянина, Левку, Гигу, цыган, красотку Машу (как плясала!), негра-пианиста из «Роз-Мари» (как играл!) и всю нашу бедную, шаткую, пеструю шанхайскую жизнь?

Казалось бы, скучать некогда. Концерты один за другим. Гастроли по всей стране: сколько-то месяцев в году этот старый человек проводил в поездках, в номерах провинциальных гостиниц, переносил сибирские жестокие морозы и среднеазиатскую жестокую жару. К этому еще работа в кино. Снимался в роли кардинала («Заговор обреченных»), в роли

---

[1] Это был К. М. Симонов.

князя («Анна на шее»), и если не спас эти фильмы (спасти их, особенно «Заговор», не удалось бы никому!), то своим участием оба фильма украсил — актер, актер! Радоваться бы свободным вечерам, отдыхать бы, пить молоко (не шампанское!), рано ложиться спать — возраст почтенный! Но ночная жизнь, которую он столько лет вел, вошла в кровь отравой, пустых вечеров не терпел, стремился заполнять их либо шумным сборищем гостей, либо рестораном. К одинокому вечернему времяпрепровождению приспособлен не был. Тосковал.

Кончились годы скитаний, шаткости, неустроенности, бездомности. Этот бродяга «с душою цыганской» на склоне лет обрел семейный очаг, прочность, признание, материальное благополучие. А вот тосковал. И только ли пустыми вечерами? И как вообще жилось ему душевно? Не знаю. Я видела его все реже.

Занята я в те годы была выше головы: училась, на жизнь зарабатывала (в журнале «Крокодил») да еще роман «Возвращение» затеяла писать. Выше головы занят был и Вертинский, к тому же часто уезжал. Жизнь разводила нас в разные стороны.

Однажды кто-то из общих знакомых передал мне: Вертинский обижен, сердится — дескать, пропала, исчезла, знать о себе не дает. Меня кольнула совесть: обещала себе непременно позвонить ему, повидаться. Собиралась и прособиралась.

Он скончался в Ленинграде в 1957 году. Рассказывали: умер в гостиничном номере, куда перед тем, как идти в ресторан с друзьями, зашел переодеться. Верен этот рассказ или нет — не знаю. Знаю одно: скончался скоропостижно, от долгой предсмертной болезни был избавлен.

Умер той легкой смертью, которую Поэт просил у бога, той смертью, о которой все мы будем молить.

Наталья Иосифовна ИЛЬИНА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА

Редактор А. Е. Басманов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 26.02.87. Подписано к печати 18.05.87. А 00381. Формат 70 × 108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,25. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 1234. Зак. № 266. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

 Индекс 70668

ПРИГЛАШАЕТ «СПОРТПРОГНОЗ»

● Эта новая спортивная лотерея предлагает любителям спорта проверить свои знания и испытать свою удачу в ее тиражах.

● Выигрывает тот, кто сможет угадать исход встреч не менее 11 из 13 пар команд, участниц данного тиража (тура) чемпионата страны по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу или по другим игровым видам спорта.

● Билеты лотереи «Спортпрогноз» продаются в киосках и пунктах «Спортлото». Стоимость бланка билета 2 копейки. Билет содержит шесть вариантов заполнения, два из которых нужно заполнить обязательно. При сдаче заполненного билета в киоск или пункт «Спортлото» играющий обязан оплатить количество заполненных вариантов. Стоимость одного варианта — 30 копеек.

● Максимальный выигрыш в лотерее — 10 000 рублей.

● В выигрышный фонд каждого тиража поступает 50 процентов стоимости оплаченных вариантов по билетам, поступившим для участия в этом тираже

● Доходы лотереи направляются на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, на организацию физкультурно-массовых мероприятий.

Главное управление спортивных лотерей
Госкомспорта СССР